



КОФЕЙНЯ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ

АСКЕР БАТИЦКИЙ

Аскер Батицкий

Кофейня на Петроградской

«Автор»

2026

Батицкий А.

Кофейня на Петроградской / А. Батицкий — «Автор», 2026

В кофейне без вывески, в петербургском дворе-колодце, Дэн варит кофе. Но иногда, когда клиент готов, Дэн чувствует: сейчас. И кофе становится другим. Эспresso показывает минуту будущего, чёткую, как кино. Капучино — пять минут сна наяву. Раф — час мутными вспышками. А чай гасит всё. Дэн не объясняет, не советует. Он варит и молчит. Клиент сам решает, что делать с увиденным. И каждый платит: за то, что узнал, теряет что-то своё. Сон, слух, цвет, голос, прикосновение, чувство времени. Пятнадцать историй о людях, которые пришли за кофе и получили больше. Часовщик, который пять лет чинит часы, которые не чинятся. Девушка с рыбкой в банке, которая плавала по кругу и не знала. Бизнесмен, который опоздал не на поезд. Рядом — Лина, рыжая напарница, которая рисует на пенке котов. И кот. Серый, крупный. Дух двора. Молчит или говорит — коротко, точно, без лишних слов. Дэн не знает, что дальше. Дэн варит. Остальное не его.

© Батицкий А., 2026

© Автор, 2026

Аскер Батицкий

Кофейня на Петроградской

РАССКАЗ 1. ЭСПРЕССО

От него пахло железом и дымом. Не табаком, не одеколоном — чем-то старым, тяжёлым, как будто он сам был частью поезда. Дэн почувствовал запах, когда старик подошёл к двери. Запах вошёл в кофейню раньше него.

Старик сел за стойку. Не за столик — за стойку, прямо напротив Дэна. Положил руки на дерево, рядом с впадиной от чужих локтей. Глаза голубые, выцветшие, как январское небо.

— Эспresso, — сказал он.

Дэн кивнул, взял чашку, насыпал зерно, поставил темпер — двадцать грамм, ровно, — включил пролив. Кофе потёк тёмный, густой, с пенкой, которая собиралась в центре, как линза.

Дэн посмотрел на пенку и увидел.

Линии, расходящиеся от центра, как рельсы. Рельсы, уходящие в темноту. Покалывание в кончиках пальцев, тепло в груди, будто кто-то открыл форточку. «Особый». Дэн понял: этому человеку нужно увидеть. Он сам решил — не кофе, он. Что-то в старике было открыто. Что-то, что ждало. Дэн не знал что, но знал, что нужно варить.

Он не подал чашку сразу — поставил на стойку, рядом с рукой старика. Белая чашка, без блюдца. Эспresso тёмный, с узором, который рассасывался на глазах. Потом налил себе — обычный, свой, не «особый». Маленькая чашка, тёмный кофе, без узоров. Первый глоток вместе с клиентом. Так было правильно.

— Осторожно, — сказал Дэн. Не «горячо» — осторожно.

Старик обхватил чашку обеими руками. Руки тёплые. На левой, у основания большого пальца, — старый ожог, белый, сморщенный, как след от пара. Старик поднёс чашку к губам. Сделал глоток.

И замер.

Глаза не закрылись — расширились. Будто он увидел что-то далеко, за стенами кофейни, за двором, за аркой, за городом. Вокзал. Ладожский. Ночь. Платформа пустая, яркая от фонарей, которые светят в темноту и не освещают ничего, кроме самих себя. Воздух холодный, с привкусом железа и мокрого бетона. Пахнет углём и мазутом — тем самым запахом, который Дэн почувствовал от старика. На платформе — женщина. Не молодая, не старая. В тёмном пальто, с платком на голове — красным, ярким, как капля крови на снегу. Стоит у края и смотрит на рельсы. Рельсы уходят в темноту. Где-то далеко — гудок. Далёкий, глухой, как голос из прошлого, который зовёт, но не по имени. Поезда нет. Поезда не будет. Женщина знает это — стоит и знает. Не уходит. Стоит.

Дэн видел то же — не свою картинку, а чужую. Он отпустил, вернулся в кофейню: стойка, скрип, свет ламп Эдисона. Старик смотрел в чашку. Пенка осела, кофе остывал.

— Вы видели, — сказал Дэн. Не спросил. Констатировал.

Старик поднял глаза. Голубые, выцветшие, мокрые.

— Я видел, — сказал он. Голос ровный, без дрожания. — Я видел её. Она стоит там. Каждую ночь. Уже двадцать лет.

Дэн не спрашивал, кто «она». Он знал. Но видение не объясняло — оно показывало. Кто эта женщина, почему стоит на платформе, почему ждёт поезд, которого нет, — это было в старике, который сидел напротив и держал чашку обеими руками, будто боялся уронить.

— Хотите ещё? — спросил Дэн. Не кофе. Хотите ещё — видеть? Говорить?

Старик покачал головой, отпустил чашку, встал. Пальто расправилось само — оно помнило его форму, как стойка помнила форму чужих локтей.

— Нет, — сказал он. — Я хочу домой. Но сначала я хочу рассказать. Можно?

Дэн кивнул, вытер чашку, поставил сушиться и сел на свой табурет за стойкой — напротив, как на равных. Лина выглянула из кухни, посмотрела на Дэна, на старика, поняла — и исчезла. Она умела чувствовать, когда нужно исчезнуть.

— Расскажите, — сказал Дэн.

Старик сел обратно. Положил руки на стойку. И начал.

Звали его Григорий. Фамилию он не назвал, и Дэн не спросил. Григорий работал машинистом — не на метро, на пригородных электричках. Маршрут Ладожский — Волховстрой, два часа туда, два обратно. Поезд шёл через болота, мимо дач, мимо деревень, которых больше нет на картах. Григорий водил его тридцать лет: каждое утро — пять сорок пять, выезд из депо, каждый вечер — двадцать три десять, последний рейс, последний вагон, последний свет в окнах.

— Тридцать лет — это много, — сказал он. Дэн услышал в его голосе не гордость, а усталость. Ту, которая въелась в кости. — Тридцать лет я вставал в четыре утра. Тридцать лет ложился после полуночи. Тридцать лет ездил по одним и тем же рельсам. Я знал каждый поворот, каждый мост, каждый семафор. Всё знал. И думал, что знаю всё. А не знал — главного.

— Жену мою звали Нина. Нина встречала меня на Ладожском. Каждое утро провожала, каждый вечер встречала. На платформе, у третьего пути. Я знал, где она стоит, ещё издалека — по платку. Красный платок. Она всегда носила красный платок, когда шла на вокзал. Говорила — чтобы я видел из кабины. Я и видел.

Дэн молчал, крутил зерно между пальцами — не потому что нервничал, а потому что руки должны что-то делать, когда рот молчит.

— Тридцать лет, — повторил Григорий. — Каждое утро, каждый вечер. Дождь, снег, жара — ей всё равно. Она стояла. Я приезжал — она махала платком. Я уезжал — она махала платком. Я думал, так будет всегда. Не думал, что навсегда кончается.

Дэн перестал крутить зерно, положил его на стойку — маленькое, тёмное, круглое, как точка в конце предложения, которое ещё не дописано.

— А ещё она пахла хлебом. Всегда. Она работала в пекарне — давно, до того, как мы поженились, — потом ушла, но запах остался. Всю жизнь. Я приходил домой — и чувствовал хлеб. Обнимал — и чувствовал хлеб. Засыпал и знал, что она рядом, потому что пахнет хлебом. Это было как имя: не то, что помнишь, — то, что знаешь. Не головой — всем телом.

Дэн не сказал ничего. Но внутри что-то сдвинулось — не жалость, не сочувствие, а узнавание. Он варил кофе каждый день, и каждое утро был запах, который был не запахом, а знанием: я здесь, я варю, я живу. Он понимал, что значит запах, который равен присутствию.

— Маршрут закрыли, — сказал Григорий. — Двенадцать лет назад. Линию передали — не помню куда. Мой маршрут убрали. Я вышел на пенсию. Думал — наконец. Думал — Нина будет рада, что я дома. Что больше не встаю в четыре утра. Думал, мы будем жить как люди. Вместе. Нормально. Завтракать, обедать, ужинать. Гулять. Как все.

Он помолчал. Дэн не торопил. Кофемашина гудела. Лина гремела посудой на кухне — громче, чем нужно, будто создавала звук, чтобы заполнить тишину.

— Нина не обрадовалась. Она стала ездить на вокзал. Без меня. Одна. Каждое утро — пять сорок пять, вставала и уходила. Я думал — сходит с ума. Говорил ей: Нина, поезда нет. Нет маршрута. Нет электрички. Не надо ездить. Она молчала. И ездила. Каждый день. На платформу, к третьему пути. Стояла и ждала. Ждала поезд, которого не было.

Дэн почувствовал, как в груди стало тесно — не от жалости, от узнавания. Он видел эту платформу, видел женщину в тёмном пальто с красным платком. Одна минута видения — и он уже знал это чувство. Ожидание, которое длиннее жизни.

— Я спрашивал: зачем ты едешь? Она говорила: «Я жду тебя». Я говорил: «Я здесь, Нина. Я дома. Не надо ждать». Она говорила: «Ты дома — а я жду тебя на вокзале. Ты не дома. Ты — там. На рельсах. Я знаю. Я чувствую». И я — дурак — не понимал. Не слышал. Думал, она путает. Думал, привыкла: тридцать лет водить меня на вокзал, руки помнят, ноги помнят. Не понимал, что она не провожает и не встречает. Она ждёт. Не меня. Того, что было. Того, что кончилось. Ждёт поезд, который ушёл и не вернулся.

— Три года она ездила. Потом заболела. Тихо, как всё в ней, — тихо. Не жаловалась. Просто стала медленнее. Стали ноги не идти. Потом — руки не поднимать. Потом — не вставать. Я клал её на кровать, а она просила открыть окно. Я открывал. Она говорила: «Гриша, я слышу поезд». Я говорил: «Нина, нет поезда». Она говорила: «Есть. Ты не слышишь. Ты машинист, ты должен слышать». И я — дурак — не слышал.

Григорий замолчал. Долго молчал. Дэн не двигался, кот на подоконнике не двигался, Лина на кухне перестала греметь — слушала. Кофемашина гудела, единственный звук в кофейне, который не подчинялся тишине.

— Она умерла в ноябре. На кровати, у открытого окна. Я держал её за руку. Она сказала: «Гриша, я ухожу на вокзал. Ты приедешь?» Я сказал: «Приеду». Она кивнула. И закрыла глаза. И не открыла.

Дэн встал, подошёл к окну. За окном — двор, арка, серое небо Петроградки. Небо было тяжёлое, набухшее, как губка, которую держат и не выжимают.

— Вы не приехали, — сказал Дэн. Не спросил. Он видел видение: женщина стояла одна, поезда не было.

— Не приехал. Не смог. Не нашёл в себе. Пенсия, пустая квартира, тишина. Куда ехать? Зачем? Её нет. Поезда нет. Ничего нет. Я не поехал. Думал — время пройдёт, забудется. Не прошло. Не забилося. Двадцать лет — и каждую ночь вижу её. Во сне. На платформе. Стоит и ждёт. А я — дома, в кровати, и не еду. Двадцать лет не еду. И не сплю. Лежу, смотрю в потолок, и вижу: красный платок, третий путь, рельсы в темноту. Каждую ночь. Как расписание, которое нельзя отменить.

Дэн повернулся.

— А теперь вы увидели её наяву.

— Да. Ваш кофе показал мне. Я думал, это сон. Но я не спал. Я пил кофе и видел. Явно, чётко — как кино. Она стоит. Красный платок. Третий путь. Ждёт. И я — увидел. Явно. Не во сне. Наяву. И понял: это не сон. Это она. Она ждёт.

Дэн сел обратно на табурет, протёр стойку — машинально, потому что думал. Кот на подоконнике повернул голову и посмотрел на старика — жёлтые глаза, без моргания, — просто смотрел, как смотрят на то, что давно знают, но не могут изменить.

Григорий смотрел на свои руки. Потом — на Дэна.

— Мне нужно поехать, — сказал он. Не Дэну. Себе. Как будто впервые за двадцать лет услышал собственную мысль вслух.

— Когда последний рейс? — спросил Дэн.

— Двадцать три десять, — сказал Григорий. — Я помню. Я всё помню.

Дэн не сказал «езжайте», не сказал «она будет там», не объяснял, что значит видение. Он только спросил — и замолчал. Остальное — не его. Григорий сам знал. Двадцать лет знал.

Григорий встал, поправил пальто, пошёл к двери, остановился, повернулся.

— Сколько с меня?

— Ничего, — сказал Дэн. Кофейня не брала денег за «особый». Не потому что благотворительность — потому что за это нельзя брать деньги. Дэн не решал, кому подать «особый». Не он выбирал. И не ему было назначать цену.

Старик кивнул, открыл дверь. Скрипнула половица. Он вышел.

Дэн стоял за стойкой. Лина выглянула из кухни.

— Шеф, — сказала она тихо. — Что это было?

— Клиент.

— Клиент, который плакал над эспрессо в десять утра, — сказала Лина. — Это не клиент. Это что-то другое. Шеф, чем это пахло? В кофейне. Когда он зашёл. Я почувствовала — но не поняла.

— Поездом, — сказал Дэн.

Лина посмотрела на него — рыжие брови сошлись к переносице. Она хотела спросить ещё. Не спросила. Убрала чашку, которую Григорий не допил. Эспрессо остыл, пенка осела, узор исчез. Лина не заметила узора. Она никогда не замечала. Но запах — запах она заметила. Она стояла и нюхала воздух, как кошка, которая чувствует что-то, чего не видит.

Кот спрыгнул с подоконника и вышел через дверь, которую Лина оставила приоткрытой. Дэн смотрел ему вслед: кот шёл через двор — не к арке, а вглубь, к пустому парадному. Дэн не знал, куда он идёт. Кот шёл, куда хотел. Дэн не пошёл за котом, не пошёл за стариком. Он остался, протёр стойку, проверил зерно, включил кофемашину на следующую чашку.

Лина вернулась на кухню. Кофейня затихла. За окном шёл дождь — мелкий, петербургский, который не начинается и не кончается, а просто есть.

Дэн думал о красном платке, о женщине, которая стоит и ждёт, о старике, который двадцать лет не ехал, о поезде, которого нет, о запахе хлеба, который был равен присутствию. Он не знал, поедет ли Григорий, не знал, увидит ли он Нину. Дэн не знал ничего — он только варил кофе. Но узор на пенке он запомнил: рельсы, уходящие в темноту. Он всегда запоминал узоры. Не потому что хотел — потому что они не забывались.

Дэн закрыл кофейню в восемь. Лина ушла первой — помахала рукой из-под козырька арки, исчезла в серой мути Петроградки. Берет натянут на уши, пакет с багетом — тот, второй, для кота — болтается в руке. Дэн не сказал, что кот не ест багет. Лина знала. Но всё равно носила. Может, когда-нибудь съест. Может, когда-нибудь арбуз вырастет на берёзе. Лина верила в чудеса, которые не случались, а Дэн — в чудеса, которые случались, но только тогда, когда их не ждали.

Дэн вымыл стойку, выключил кофемашину, проверил замок и вышел через двор. Двор был мокрый, тёмный, пустой. Фонарь над аркой горел — жёлтый, тусклый, как ночник у постели больного. Дэн прошёл через арку, и город открылся: Каменноостровский проспект, мокрый, блестящий, пустой. Машины проносились, шуршали шинами по асфальту, фары скользили по стенам домов, как лучи маяка, который крутится и ничего не находит.

Идти до Ладожского от кофейни было минут сорок. Дэн шёл быстро — не потому что торопился, а потому что не видел смысла идти медленно. Питер в октябре — не город, а состояние. Мокрое, серое, тёплое, как простыня, которую не сняли после сна.

Дэн не знал, зачем шёл. Он не обещал Григорию прийти, не договаривался, не должен был. «Особый» кофе сделал своё — показал старику минуту его будущего. Или его правды. Или его вины. Дэн не знал, что именно. Он видел то же, что клиент, и не больше. Женщина на платформе, красный платок, рельсы в темноту. Это была не загадка, которую нужно было решить, а дверь, которую нужно было открыть. Или закрыть. Дэн не знал, какая. Он шёл, потому что не мог не идти. Просто пошёл.

Ладожский вокзал ночью был другим. Днём он был вокзалом — шум, толпа, чемоданы, объявления по громкой связи, запах пельменей из буфета, запах пота, запах дороги. Ночью он был пуст: огромный, светлый, безлюдный, как храм после службы. Фонари горели, но светили в пустоту. Эскалаторы стояли. Кассы были закрыты, за стеклом — темнота. Охранник дремал на стуле: кепка на глаза, рация на поясе. Дэн прошёл мимо. Охранник не спросил. На вокзале ночью каждый имеет право быть. Вопрос — зачем. Но кто задаёт вопросы в три часа ночи.

Дэн прошёл к платформам, вышел на перрон. Воздух был холодный, октябрьский, с привкусом железа и мокрого бетона. Пути блестели от дождя — рельсы мокрые, чёрные, уходящие в темноту. Фонари на платформе горели ярко, но свет рассеивался, таял в воздухе, не доходя до конца путей. Там, где свет кончался, начиналась темнота — густая, плотная, как вата. Пахло углём и мазутом — тем самым запахом, который Дэн почувствовал от старика.

Дэн встал у третьего пути. Посмотрел налево — рельсы уходили в ночь. Посмотрел направо — то же. Платформа была пуста. Фонарь над головой гудел — тонко, нудно, как комар, который не кусает, а просто гудит.

Дэн ждал. Не знал чего. Не знал, придёт ли Григорий, не знал, будет ли Нина. Ждал, потому что пришёл, а стоять на платформе и не ждать — глупо. Где-то вдалеке прогудел поезд. Далёкий, глухой, как голос из прошлого, который зовёт, но не по имени.

Григорий пришёл без пяти одиннадцать. Дэн услышал шаги — медленные, тяжёлые, по платформе. Не обернулся. Зачем. Он знал, кто.

Григорий встал рядом: пальто, морщины, голубые глаза. Дэн мельком увидел, что пальто расстёгнуто — пуговицы не было. Старик смотрел на рельсы. Стоял так же, как стояла Нина в видении, — у края, лицом к путям. Дэн заметил это и подумал: так стоят те, кто ждут. Ноги у края, лицо к темноте. Не потому что ждут поезд — потому что ждут.

— Вы пришли, — сказал Григорий. Не удивлённо. Просто — констатация.

— Я пришёл, — сказал Дэн.

— Зачем?

— Не знаю, — сказал Дэн. Честно. Он не знал.

Григорий кивнул, принял. Два человека стояли на пустой платформе и смотрели на рельсы. Один — потому что не мог не прийти. Другой — потому что двадцать лет не мог.

Без двух минут одиннадцать Дэн увидел.

Не услышал, не почувствовал — увидел. На платформе, в десяти метрах от них, у края — женщина. Тёмное пальто, красный платок. Стояла спиной, смотрела на рельсы. Не двигалась, не оглядывалась. Просто стояла. Как стояла двадцать лет. Как стояла в видении. Как стояла в жизни.

Дэн не сказал ни слова. Повернул голову к Григорию. Старик смотрел туда же. Увидел — или почувствовал. Дэн не знал. Он видел её — тёмное пальто, красный платок, прямая спина, — но не знал, видит ли Григорий. Может, старик видел яснее. Может — не видел ничего, а просто знал, что она там. Дэн не спрашивал. Не его дело — кто что видит. Его дело — варить.

Григорий сделал шаг. Потом ещё. Медленно, как шёл через двор утром. Шёл к ней — к красному платку, к прямой спине, к двадцати годам ожидания, которые стояли на платформе и смотрели на рельсы.

— Нина, — сказал он. Тихо. Просто — имя. Как будто звал. Как будто не верил, что она обернётся.

Она не обернулась. Но Дэн видел — или почувствовал, — что она слышала. Плечи шевельнулись. Еле заметно. Как от ветра, которого не было.

Григорий остановился в двух шагах. Не подошёл ближе, не тронул. Просто стоял.

— Нина, я приехал, — сказал он. Голос ровный, без слёз, без дрожания. — Я приехал. Прости, что не сразу. Прости, что двадцать лет. Я — дурак. Я думал, если не ехать — будет легче. А стало — только хуже. Я каждый день слышу твой поезд, Нина. Каждый день. А ты — стоишь. И я не еду. А теперь я приехал.

Женщина стояла. Красный платок не шевелился. Дэн смотрел и не дышал. Вокзал молчал. Фонарь гудел. Рельсы блестели. Где-то далеко прогудел поезд — или показалось.

Потом она повернулась.

Дэн видел её лицо — или не лицо. Скорее — присутствие лица. Глаза, рот, морщины, красный платок, завязанный под подбородком. Всё было — но не твёрдое, не вещественное. Как отражение в воде, которую кто-то тронул пальцем. Женщина улыбнулась — не широко, не радостно, тихо, как улыбаются, когда ждали и дождались.

— Гриша, — сказала она. Или не сказала — Дэн услышал, но не ушами, где-то внутри. — Ты приехал.

Григорий стоял, не двигался. Дэн видел, как его руки висят вдоль тела — крупные, с узлами суставов, — и не поднимаются. Хотят — но не могут. Как будто тяжёлые. Как будто налились свинцом от двадцати лет, которые висели на них.

— Я приехал, — повторил он.

Нина протянула руку — маленькую, в шерстяной перчатке. Перчатка была знакомая — серая, с белым узором на манжете. Дэн видел её в видении. Григорий, видимо, тоже, потому что его лицо дрогнуло. Он узнал. Он помнил.

Григорий поднял руку — медленно, как поднимают то, что слишком тяжело, — и взял её ладонь. И Дэн увидел — или почувствовал, — как что-то сдвинулось. Не в воздухе, не на платформе — внутри. В том месте, где время хранит то, что не отпускает. Что-то щёлкнуло, как замок, который наконец открыли ключом, который носили в кармане двадцать лет и боялись достать.

Нина не исчезла, не рассыпалась, не растаяла. Она стояла, держала его за руку, и Дэн видел, как она становится — не меньше, а легче. Прозрачнее. Красный платок бледнел, пальто теряло цвет, лицо смягчалось, как рисунок, который долго стирать. Но глаза — глаза были ясные, ясные и тёплые, как будто весь цвет ушёл в глаза, и они держали его, пока остальное таяло.

— Иди, — сказала она. Не Григорию, не Дэну. Просто — «иди».

Григорий отпустил руку. Нина стояла ещё секунду. Две. Три. Потом — Дэн не увидел, как именно, — её не стало. Не исчезла, не растворилась. Просто перестала быть. Как звук, который стих. Как запах, который выветрился.

Платформа была пуста. Фонарь гудел. Рельсы блестели. Дэн стоял и смотрел на то место, где была Нина, и не чувствовал ничего — ни грусти, ни радости, ни облегчения. Пустоту. Чистую, свежую, как воздух после дождя.

Григорий стоял рядом. Лицо мокрое — от дождя или от слёз, Дэн не различал. Руки висели. Пальто промокло. Он смотрел на рельсы.

— Запах, — сказал он вдруг. Голос был странный — удивлённый, как у человека, который нашёл в кармане то, что потерял, и не понимает, как оно туда попало. — Я больше не чувствую её запах.

Дэн повернулся.

— Она пахла хлебом, — сказал Григорий. — Всегда. Хлебом и тёплым воздухом. Я приходил домой — и чувствовал хлеб. Обнимал — и чувствовал хлеб. Всю жизнь. А теперь — не чувствую. Не помню. Как будто — вынули. Как будто вынули что-то изнутри, и — пусто. Знать, что было, — и не помнить. Как слово, которое на кончике языка, и — не сказать.

Дэн молчал. Он знал, что это. Плата. Не его — Григория. Клиент видел будущее — увидел Нину, увидел платформу, увидел красный платок. И заплатил за это прошлым — запахом жены. Тем, что ценил. Тем, что хранил всю жизнь. Дэн не выбирал плату. Не предупреждал. Не мог. Он только варил.

Григорий стоял и молчал. Потом поднял воротник пальто. Посмотрел на Дэна.

— Это честно, — сказал он. — Я видел её. Я поговорил с ней. Я попрощался. Двадцать лет не мог — а теперь попрощался. Запах — это цена. Нормальная цена. Я увидел будущее — и заплатил прошлым. Так и должно быть.

Дэн не ответил. Не потому что не хотел — потому что не знал, что сказать. Дэн варил кофе и наблюдал. Чужая плата — не его боль. Он принял это давно. Но что-то в груди — тёмное, тихое — шевельнулось. Не жалость. Скорее — уважение. К старику, который заплатил и не пожалел.

— Спасибо, — сказал Григорий. Протянул руку. Дэн пожал. Рука была тёплая, сухая, крепкая — рука человека, который ещё жив.

Григорий ушёл. Шёл по платформе медленно, не оглядываясь. Пальто мокло. Шаги гулкие. Дэн смотрел ему в спину, пока старик не скрылся за поворотом к выходу. Платформа осталась пуста. Рельсы блестели. Фонарь гудел.

Дэн стоял ещё минуту. Потом развернулся и пошёл к выходу — по эскалатору, который стоял, через зал, мимо закрытых касс, мимо буфета, в котором не было света. На улице шёл дождь. Мелкий, петербургский. Лина была права — лило.

У арки вокзала сидел кот. Серый, крупный, с белым пятном на груди. Жёлтые глаза. Чистый. Сухой — несмотря на дождь. Дэн остановился.

— Ты пришёл, — сказал кот.

Дэн не удивился. Кот всегда появлялся после. Никогда — во время. После.

— Я пришёл, — сказал Дэн.

— Он попрощался, — сказал кот. Не вопрос. Констатация.

— Попрощался.

Кот помолчал. Потом сказал:

— Запах — это много. Но он двадцать лет носил его в кармане. Пришло время выложить.

Дэн не ответил. Кот не ждал ответа. Встал, потянулся — не как кошка, а как человек, который долго сидел, — и пошёл. Не в сторону двора, не в сторону вокзала. В сторону. Куда — Дэн не знал. Кот шёл, куда хотел. Дэн не следил.

Дэн шёл домой — через мост, мимо заправки, мимо стекляшки, по Каменноостровскому, через Петроградку. Дождь лил, но Дэн не раскрывал зонт: не любил, не носил. Мокнул. Шёл и думал о запахе хлеба, о красном платке, о руке в шерстяной перчатке, которую держали двадцать лет и отпустили, о плате, которую отдают не потому что хотят, — потому что нужно, о старике, который сказал «честно» — и не соврал.

Дэн пришёл в кофейню, открыл дверь ключом, который кашлял, включил свет, протёр стойку, проверил зерно — эфиопская обжарка, средняя, чуть горьковатая, с нотой ягод, — поставил чашку на стойку. Белую, без блюдца. Пустую.

Дэн посмотрел на пустую чашку и подумал: каждый, кто приходит, оставляет что-то. Старик оставил запах жены на платформе, у третьего пути, рядом с рельсами, которые уходят в темноту. Дэн не знает куда. Не его дело.

Он взял чашку, поднёс к лицу. Понюхал. Ничего. Запах железа и дыма ушёл. Только кофе. Только дерево. Только октябрь.

Дэн выключил свет, закрыл дверь и ушёл.

Кофейня осталась — тёмная, тихая, пахнувшая кофе и деревом. Пол скрипел, но некому было слышать. Лампа Эдисона под потолком была выключена, но лёгкий свет уличного фонаря проходил через грязноватое окно и ложился на стойку, на пустую белую чашку, на место, где лежали руки Григория.

Чашка стояла до утра. Утром Лина пришла, убрала чашку, протёрла окно и сказала:

— Шеф, дождь кончился.

Дэн посмотрел в окно. Дождя не было. Небо было серое, но — светлое. Как январские глаза Григория.

— Кончился, — сказал Дэн. Включил кофемашину, проверил зерно, протёр стойку.

Первый клиент пришёл в девять — молодой человек с рюкзаком, заказал капучино. Дэн сварил обычный. Молодой человек выпил, улыбнулся, ушёл. Дэн протёр чашку.

Обычное утро.

РАССКАЗ 2. МЕЛКИ

ГЛАВА 1. КАКАО

Лина верила в сны — не в кошмары, те она списывала на поздний ужин, — а в обычные, бытовые, в которых ничего не происходит: пустой коридор, очередь в булочной, где она стоит и не помнит, за чем, дождь, который начинается и не кончается. Такие сны Лина считала знаками.

— Шеф, — сказала она, протирая салфетки, хотя они не были грязными. — Мне приснилось, что я варю кофе, но зерно — не зерно, а камешки. Мелкие, цветные. Я сыплю их в кофемашину, и она не гудит, а звенит. Как колокольчик. К чему бы это?

Дэн не ответил. Он протирал стойку — медленно, круговыми движениями, слева направо, — и думал не о сне Лины, а о другом: о том, что утром, когда он открывал дверь,

скрип прозвучал иначе. Не громче — иначе, как будто пол хотел сказать что-то, но передумал. Дэн вообще не придавал значения скрипу: скрипел и скрипел. Но сегодня скрип был другой, и Дэн это заметил, а заметить — уже половина дела.

Кофейня жила своим утром. Лина протёрла окно — тряпка по стеклу, мягкий звук, как дыхание. Меловая доска над стойкой была прежней: эспresso, капучино, раф, латте, какао, чай. Короткое меню, без затей. Лина каждый раз хотела добавить что-нибудь — «эспresso себе и миру» — и каждый раз Дэн стирал. Лина обижалась на три минуты, не дольше, потом забывала: утро не терпит долгих обид.

В половине десятого открылась дверь. Скрипнула первая половица — та, у входа. Дэн поднял глаза.

Женщина. Тридцать пять, может, чуть больше. Тёмные волосы, собранные в хвост, но хвост распадался — несколько прядей выбились и висели, как трава, которую забыли подрезать. Куртка синяя, мятая. Глаза уставшие — не от бессонницы, а от чего-то другого, что не проходит после сна. За руку она держала девочку.

Девочке было лет десять. Рыжая — как Лина, но рыжая по-другому: у Лины рыжий был медный, тёплый, осенний, а у этой — яркий, как пламя газовой конфорки. Волосы стрижены неровно, то ли сама, то ли мама на скорую руку. Лицо маленькое, острое, с веснушками — не россыпью, а кластерами, как звёздные скопления на астрономической карте. Руки в мелу: все пальцы белые, жёлтые, красные, синие, под ногтями особенно. В свободной руке она держала картонную коробку, перевязанную шпагатом, и в коробке что-то перекатывалось.

— Доброе, — сказала женщина. Голос был ровный, вежливый, пустой — как стена, которую недавно покрасили: выглядела свежо, но за ней ничего не было.

— Доброе, — сказала Лина и улыбнулась. — Что будете?

Женщина посмотрела на меловую доску.

— Эспresso. Мне. И... — она посмотрела на девочку. — Что хочешь?

Девочка не ответила. Она смотрела во двор, через окно, которое Лина протёрла минуту назад: двор-колодец, арка, мокрые деревья, пустые парадные. Смотрела так, будто видела что-то, чего не было видно через стекло, что-то, что знала только она.

— Какао, — сказала женщина за неё. — Она любит какао.

Дэн кивнул. Взял две чашки, насыпал зерно для эспresso — эфиопская обжарка, средняя, с нотой ягод, — поставил темпер, включил пролив. Потом взялся за какао: молоко, какао-порошок, щепотка корицы. Дэн не любил корицу в какао, но добавлял, потому что без неё какао был плоским, как дождь без ветра.

Девочка села за столик у окна — тот, что ближе к двери, — и поставила коробку на стул. Женщина села напротив, спиной к залу, лицом к дочери, как будто хотела закрыть её от кофейни: от Дэна, от Лины, от ламп Эдисона, от всего.

Дэн подал эспresso, поставил чашку перед женщиной — белую, без блюдца. Она обхватила её обеими руками, не для тепла, а для опоры, как будто чашка была единственное, что не двигалось в её жизни. Дэн налил себе свой — обычный, не «особый», — как всегда пил одновременно с клиентом, и поднял кружку. Женщина тоже глотнула. Эспresso был обычный: горький, с нотой ягод, с пенкой, которая осела. Ничего не произошло.

Дэн отнёс какао девочке, поставил на стол. Какао было тёплое, с пенкой — коричной, рыжей, как волосы Лины. Девочка не посмотрела на Дэна, посмотрела на какао, обхватила чашку обеими руками — маленькими, в мелу, — и глотнула.

И Дэн увидел.

Не видение. Не будущее. Настоящее — то, что происходило за окном, во дворе, прямо сейчас. Но видел он это не глазами, а чем-то другим, чем-то, что проснулось, когда девочка глотнула какао. Какао усилило её дар — тот, что жил в мелках, в пальцах, в том, как она смотрела на двор, будто видела то, чего не было.

Двор. Асфальт — мокрый, тёмный, со лужами, которые не высыхают. И на асфальте рисунок, мелом: дверь. Не нарисованная, а начерчённая уверенно, как будто девочка знала, где ручка, где петля, где порог. Жёлтый контур, красная ручка, синяя рама. Дверь на асфальте, перед пустой парадной, рядом с велосипедом, который висел на лестнице.

И дверь открылась.

Не распахнулась — приоткрылась. Медленно, как будто кто-то изнутри потянул за красную ручку. За дверью была не стена, не подвал, не парадное, а темнота: тёплая, густая, как дрожжевое тесто. Темнота, которая дышала.

Дэн отпустил. Вернулся в кофейню. Девочка пила какао, женщина пила эспresso, ничего не происходило. За окном — двор, арка, мокрые деревья. Двери на асфальте не было. Дэн посмотрел — не было. Но он видел. Секунду назад — видел.

Лина выглянула из кухни.

— Шеф, ты чего побледнел?

— Ничего, — сказал Дэн и протёр стойку. Руки двигались сами. Думал он о другом: какао усиливает чужой дар. Это было в «Библии» — не в книге, а в голове, в том, что он знал о кофе не из книг, а из рук. Какао не показывает будущее. Какао будит то, что спит. У этого ребёнка что-то спало. И какао это разбудило.

Женщина допила эспresso, поставила чашку, посмотрела на девочку — как смотрят на что-то хрупкое, что может разбиться.

— Готова? — спросила она.

Девочка кивнула, слезла со стула, взяла коробку со шпагатом. Коробка звякнула — мелко. Девочка вышла из кофейни. Скрипнула первая половица. Потом вторая. Потом тишина.

Женщина задержалась. Посмотрела на Дэна, открыла рот — будто хотела что-то сказать, — потом закрыла, покачала головой и ушла.

Лина подошла к окну, посмотрела во двор.

— Шеф. Девочка рисует.

Дэн подошёл. Посмотрел.

Девочка стояла на коленях на мокром асфальте, перед пустой парадной, рядом с велосипедом. Она открыла коробку — мелки, цветные, толстые, короткие, стёртые, — достала жёлтый и начала рисовать. Не дверь — солнце. Круг. Жёлтый круг на тёмном асфальте, мокром от дождя, который не кончался.

Мел не смывался.

Дождь шёл — мелкий, петербургский, постоянный. Капли падали на асфальт, на рисунок, на жёлтый круг, и не размывали. Мел держался — яркий, чистый, как будто нарисован на бумаге, а не на мокром камне.

— Это... — начала Лина и не закончила.

Дэн молчал. Крутил зерно между пальцами. Мел не смывался, и Дэн знал почему: какао. Какао усилило дар, и дар был в мелках, в пальцах, в том, что девочка рисовала. Она рисовала — и нарисованное становилось. Дверь открылась. Солнце — что будет с солнцем?

— Придут завтра, — сказал Дэн. Не Лине. Себе.

Лина обернулась.

— Откуда ты знаешь?

Дэн не ответил. Протёр стойку. Кофемашина гудела. За окном девочка дорисовала солнце и встала. Мать взяла её за руку. Жёлтый круг на асфальте выделялся — как будто был ярче, чем должен быть. Как будто знал, что он — больше, чем мел.

ГЛАВА 2. ДОЖДЬ

Они пришли на следующий день. И на следующий.

Каждое утро — одна и та же картина: женщина заходила первой, держа дверь для девочки; девочка входила, несла коробку с мелками, садилась за тот же столик — у окна, ближе к двери; женщина заказывала эспрессо, девочке — какао. Дэн варил, пил свой одновременно с женщиной, какао — для девочки. Каждый раз.

На третий день женщина осталась — не после кофе, во время. Девочка рисовала во дворе, а женщина сидела за столиком и смотрела в окно, не на дочь, а сквозь неё, как будто окно было экраном, на котором она видела что-то, чего не было.

Лина принесла ей второй эспresso — без заказа, просто потому что увидела пустую чашку и пустые глаза.

— Спасибо, — сказала женщина. Посмотрела на Лину, потом на Дэна, потом снова на Лину, как будто решала, кому говорить.

Лина села напротив. Не спросила — просто села. Умеет. Иногда не нужно спрашивать. Нужно просто быть рядом.

— Меня зовут Марина, — сказала женщина. — Машу зовут... — она кивнула в сторону окна. — Маша.

— Лина, — сказала Лина. — А это шеф. Он Дэн. Он не любит знакомиться, но это потому, что он стесняется, а не потому, что не хочет.

Дэн не стал спорить. Протирал стойку и слушал.

Марина заговорила. Не сразу — сначала покрутила чашку, потом отпила, потом покрутила ещё. Лина не торопила. Лина умела не торопить — это было её дар, единственный, и он не требовал какао.

— Маша рисует, — сказала Марина. — Всю жизнь. С двух лет. Сначала на стенах, я ругалась. Потом на бумаге. Потом на асфальте. Я не ругалась: мел смывается, мел — это мел, это игра. Так я думала.

Она замолчала. Лина ждала. Дэн протирал стойку — медленнее обычного, чтобы не скрипела тряпка.

— В августе, — продолжила Марина, — Маша нарисовала дождь. На асфальте, во дворе нашего дома. Я не обратила внимания: просто рисунок. Но на следующий день пошёл дождь. Проливной, весь день. Это был первый раз, когда я подумала: совпадение. Просто совпадение.

— А второй? — спросила Лина.

— Второй был две недели назад. Маша нарисовала мальчика. С гипсом на руке. Я спросила: кто это. Она сказала: «Это мальчик из параллельного. Он упадёт». Я спросила: «Когда?» Она сказала: «Завтра». На следующий день мальчик из параллельного класса упал с турника и сломал руку. Правую. Гипс на правой.

Марина поставила чашку. Руки дрожали — мелко, как земля перед землетрясением.

— Я не знаю, что делать, — сказала она. — Она рисует, и это происходит. Не всегда — иногда просто рисунок. Но иногда не просто. Иногда дверь открывается. Иногда дождь идёт. Иногда мальчик падает. А что, если она нарисует что-то страшное? Что, если она нарисует что-то и не сможет убрать? Мел смывается. Но её мел — не смывается. Я видела. Вчера видела. Солнце, которое она нарисовала у вас во дворе. Дождь шёл всю ночь, а оно — вот. Ярче, чем должно быть.

Дэн стоял за стойкой, не двигался, крутил зерно — теперь уже потому что нервничал. Он видел это раньше, не с этой девочкой, с другими: способности, которые не помещаются в тело, дар, который больше носителя. Бабушка говорила: «Иногда дар — не подарок. Иногда ноша. Иногда волк, которого кормишь, а он ест тебя».

— Вы боитесь, — сказал Дэн.

Марина повернулась, посмотрела на него — прямо, жёстко, как человек, которому надоело бояться и который хочет, чтобы кто-то назвал это.

— Да. Я боюсь. Я боюсь своего ребёнка. Вы понимаете? Я мать. Я должна защищать. Я должна знать, что делать. А я не знаю. Я не знаю, что она нарисует завтра. И не знаю, смогу ли я остановить.

Дэн не ответил. Не потому что не хотел — потому что не знал. Он варил кофе. Он не спасал, не учил, не объяснял. Он мог показать — через кофе, через «особый», когда время придёт. Но объяснить, как жить с ребёнком, который рисует будущее, — этого он не мог.

— Она нарисовала дверь, — сказал Дэн. — Вчера. За окном. Я видел.

Марина замерла.

— Вы видели? Как?

Дэн не ответил на «как». Он сказал другое:

— Дверь открылась.

— Я знаю. Маша мне рассказала. Она сказала: «Мам, я нарисовала дверь, и она открылась». Сказала спокойно. Как будто это нормально. А я не спала всю ночь. Думала: что за дверь? Куда она ведёт? Что, если Маша зайдёт?

— Зайдёт? — спросила Лина.

— Маша сказала: «Там красиво. Там тепло. Там нет дождя». Она сказала это так, как будто уже была. Как будто заходила. И я не знаю, что за дверь, и не знаю, отпущу ли я её туда. Я мать. Я должна знать. А я не знаю.

Тишина. Кофемашина гудела. За окном — двор, арка, серое небо. Жёлтый круг на асфальте всё ещё не смыт, яркий, как будто нарисованный вчера, а не три дня назад.

Дэн подошёл к окну, посмотрел на солнце. Жёлтый круг, нарисованный цветным мелом на мокром асфальте. Дождь шёл — мелкий, постоянный. Капли падали на круг и не размывали его.

— Она рисует то, что будет, — сказал Дэн. — Она не контролирует — она рисует. Как дышит. Не задумываясь. Не выбирая.

— Я знаю. В этом и проблема. Она не выбирает. Она рисует, и это происходит, и она не знает почему. Она ребёнок. Ей десять лет. Она рисует, как дышит, и не знает, что каждым вздохом меняет мир. А я знаю. И не могу остановить. Не могу сказать «не дыши».

Дэн молчал. Марина говорила, и он слушал. Это было то, что он умел: слушать. Не советовать, не объяснять. Слушать. Иногда этого достаточно. Иногда — нет.

Лина принесла ещё эспрессо. Марина взяла чашку, обхватила обеими руками — привычным жестом, как будто чашка была якорем.

— Шеф, — сказала Лина тихо, отойдя к стойке. — Ты что-то можешь?

Дэн покачал головой. Потом остановился, подумал, потом кивнул. Не «да» — «может быть». Он не знал. Но чувствовал: Марина была готова. Не сегодня — завтра, послезавтра. Скоро. Что-то в ней — усталость, страх, решимость — приближалось к точке, после которой она сможет увидеть.

— Приходите завтра, — сказал Дэн.

Марина посмотрела на него.

— Зачем?

— Приходите, — повторил Дэн. Не объяснил. Не мог. Не потому что не хотел — потому что не знал, как.

Марина кивнула. Не потому что поняла — потому что устала не доверять. Когда устаёшь бояться, начинаешь доверять. Не людям — надежде.

— Завтра, — сказала она.

Встала. Вышла. За окном Маша стояла на коленях, рисовала что-то синее. Лужу? Море? Небо? Дэн не видел — через грязноватое окно, с расстояния, цвет размывался. Но синее было ярко, как свечение.

Лина подошла к окну.

— Шеф, она нарисовала солнце три дня назад. А дождь всё ещё идёт.

Дэн не ответил. Но подумал: солнце ещё не наступило. Но наступит. Рисунок — не приказ. Рисунок — обещание. Обещание, которое нужно время, чтобы исполнить.

— Завтра, — сказал он.

— Что завтра?

— Завтра посмотрим.

Лина не стала спрашивать дальше. Она умела не спрашивать, когда знает, что ответа нет. Вместо этого протёрла стойку, хотя Дэн протёр её пять минут назад.

— Кофеёк варить? — спросила она.

— Вари, — сказал Дэн.

Кофейня жила. Кофемашина гудела. Пол скрипел. За окном шёл дождь, и жёлтый круг на асфальте не смывался, и девочка с рыжими волосами рисовала что-то синее, и мать стояла рядом и не знала, что делать. А Дэн знал, что не знает. И ждал.

ГЛАВА 3. СОЛНЦЕ

На пятый день Дэн почувствовал.

Не утром, не при открытии, не когда Марина зашла — она зашла как обычно, с Машей, с коробкой мелков, с тем же пустым взглядом и той же синей мятой курткой, — не когда варил эспрессо, не когда пил свой, одновременно с Мариной, как всегда. Не тогда.

А потом. Когда Марина поставила чашку, и руки её не дрожали — впервые за пять дней. Когда она посмотрела на Машу — не со страхом, не с тревогой, а с тем спокойным, усталым принятием, которое приходит, когда бояться больше нечем, потому что страх уже прошёл насквозь и вышел с другой стороны. Когда Марина повернулась к Дэну и сказала:

— Я хочу увидеть.

Дэн почувствовал: покалывание в кончиках пальцев, тепло в груди, будто кто-то открыл форточку. Ощущение — не мысль, не решение, — ощущение: сейчас. Она готова. Не «хочет» — «готова». Хотеть — это воля. Быть готовым — это когда воля отпускает, и остаёшься ты, без брони, без страха, без «а что если». Марина была готова.

Дэн кивнул. Взял чашку, насыпал зерно, поставил темпер, включил пролив. Кофе потёк — тёмный, густой, с пенкой, которая собиралась в центре.

Дэн посмотрел на пенку. И увидел узор.

Солнце. Круг — жёлтый, яркий, с лучами, расходящимися от центра. Лучи не ровные, а живые, как будто дрожали. Дэн узнал: это был «особый». Не он решил — он почувствовал. А кофе подтвердил. Узор был солнце. Солнце — то, что девочка рисовала. Солнце — то, что должно было наступить.

Дэн не подал чашку сразу. Поставил на стойку: белая чашка, без блюдца, эспрессо — тёмный, с узором на пенке, который дрожал и не таял.

— Осторожно, — сказал Дэн. Одно слово.

Марина обхватила чашку, посмотрела на Дэна. Он кивнул — едва, подбородком. Она глотнула.

И увидела.

Двор. Тот же двор-колодец, та же арка, те же деревья, те же пустые парадные. Но свет. Двор залит светом — ярким, тёплым, золотым, как будто кто-то включил огромное солнце над двором и не выключал. Асфальт сухой. Сухой впервые за октябрь. Тёплый, светлый, без луж, без дождя. И на асфальте рисунок: солнце. Жёлтый круг, тот самый, который Маша нарисовала пять дней назад. Но теперь не на мокром асфальте, а на сухом, на тёплом, на залитом светом.

И Маша. Маша стоит посреди двора, на коленях, рисует. Не дверь, не дождь — что-то новое. Что-то зелёное. Траву? Дерево? Растение? Марина не видит — детали расплываются, как сон. Главное — Маша. Маша рисует. Маша улыбается. Маша спокойная. Маша счастливая.

Марина хотела крикнуть: «Маша!» — и не смогла. В видении не смогла. Голос не шёл, как будто что-то держало его — мягко, но крепко. Не больно. Но не пускает.

Видение кончилось. Одна минута — и кончилось. Марина вернулась в кофейню. Чашка в руках. Пенка осела. Кофе остыл. Дэн стоял напротив — серые глаза, внимательные, спокойные. Он видел то же. Он не сказал что. Он ждал.

— Я видела, — сказала Марина. Голос был тихий, ровный. — Я видела солнце. Двор сухой. Маша рисует. Она счастливая. Она...

Марина замолчала. Попробовала сказать что-то ещё — и не смогла. Не потому что не хотела — потому что голос пропал. Не совсем, не полностью: она слышала себя, но тихо, шёпотом, как будто кто-то выкрутил громкость до минимума. Она попыталась громче — и не смогла. Горло работало, губы двигались, но звук был шёпот.

— Что... — прошептала она. — Что со мной?

Дэн не ответил. Не потому что не знал — потому что не знал. Он не знал плату. Никогда не знал заранее. Узнавал вместе с клиентом. Сейчас — вместе с Мариной. Он видел её глаза, которые расширились, когда она попыталась крикнуть и не смогла. Видел, как она поднесла руку к горлу — машинально, как будто проверяла, на месте ли.

— Голос, — прошептала Марина. — Я не могу... Я не могу говорить.

Дэн стоял. Молчал. Не мог сказать «это плата» — потому что не знал. Не мог сказать «пройдёт» — потому что не знал. Не мог сказать ничего. Он только варил. Остальное не его.

Лина выглянула из кухни, увидела Марину — побледневшую, с рукой у горла, — увидела Дэна, неподвижного, с пустой чашкой в руках, и поняла. Не что, а что-то. Умеет.

— Шеф? — спросила она.

— Всё нормально, — сказал Дэн. Сказал для Марины. Чтобы она слышала чей-то голос, пока свой не слышала.

Марина встала, пошла к двери, остановилась, повернулась к Дэну. Открыла рот — и не смогла. Закрыла. Вышла. Скрипнула первая половица. Потом вторая.

За окном Марина подошла к Маше. Маша стояла на коленях, рисовала что-то жёлтое. Марина хотела что-то сказать — и не смогла. Маша подняла голову, посмотрела на мать. Не испуганно — спокойно. Как будто знала. Как будто понимала.

Марина присела рядом с Машей, на мокрый асфальт, обняла. Молча. Маша прижалась, рисовала дальше — одной рукой, потому что второй держалась за мать.

Дэн смотрел через окно. Лина стояла рядом — не говорила, не спрашивала. Просто стояла.

— Она не может говорить, — сказал Дэн.

— Я вижу, — сказала Лина. — Это... надолго?

— Не знаю.

— Шеф...

— Не знаю, — повторил Дэн. И это было правдой. Плата не его. Он не выбирал, не назначал, не контролировал. Он варил. Остальное — между клиентом и чем-то, чему он не знал имени.

Лина кивнула. Не потому что поняла — потому что приняла. Она давно приняла, что Дэн не обычный бариста, и кофе не обычный кофе. Не понимала — но приняла. Это было её умение: принимать, не понимая. Иногда этого достаточно.

Утром, на следующий день, Дэн открыл кофейню. Скрипнула первая половица. Включил кофемашину, проверил зерно, протёр стойку.

И посмотрел в окно.

Дождя не было. Впервые за октябрь не было. Небо светлое, не серое, не тяжёлое. Голубое, как будто кто-то поменял фильтр. Солнце — настоящее, не нарисованное — висело над крышами, низко, по-октябрьски, и светило в двор-колодец, и асфальт был сухой, и лужи высохли, и жёлтый круг на асфальте — тот, который Маша нарисовала, — светился в солнечном свете.

Дэн не удивился. Он не знал, будет ли. Но видение Марины показало солнце. И солнце пришло. Не потому что видение — приказ. Видение — обещание. Обещание, которое исполнилось, потому что девочка нарисовала, и нарисованное стало.

Лина пришла в восемь, зашла, остановилась у двери.

— Шеф, — сказала она. — Солнце.

— Да, — сказал Дэн.

— Это она?

— Не знаю, — сказал Дэн. И это было правдой. Он не знал. Может, совпадение. Может, мелки. Может, видение, которое сбылось. Может, солнце, которое пришло само. Он не знал. Он только варил кофе.

В десять пришли Марина и Маша. Марина вошла первой, Маша за ней, с коробкой мелков. Марина села за тот же столик, посмотрела на Дэна, открыла рот.

— ... — шёпот. Тихий, как лист, который падает.

Она показала телефон. Экран. Дэн подошёл, прочитал.

«Я не могла крикнуть „стой“. Вчера, во дворе, когда она рисовала. Я хотела сказать „стой, не рисуй“. Не смогла. И не захотела. Она нарисовала солнце. И солнце светит. Я не крикнула — и солнце светит. Может, не надо было кричать. Может, я боялась не того, что она рисует. А того, что не контролирую. Может, голос — это... плата. За то, что перестала бояться».

Дэн прочитал, посмотрел на Марину. Она смотрела на него — без страха, без тревоги, со спокойствием, которое приходит после бури. Не тихое, а очищенное. Как воздух после дождя.

Дэн кивнул. Не потому что понял — потому что увидел. Она заплатила голосом за то, что перестала бояться. За то, что увидела солнце и поверила. За то, что не крикнула «стой» — и солнце светит. Плата не наказание. Обмен. Чтобы будущее стало возможным, Марина отдала прошлое — голос, которым кричала «стой» своему ребёнку.

Марина улыбнулась. Беззвучно. Маша сидела рядом, пила какао — не «особый», обычный, с корицей, тёплый. Сегодня обычный. Дэн не чувствовал покалывания, не видел узора. Сегодня просто какао. Просто утро. Просто солнце.

Марина и Маша ушли. Марина молча. Маша болтала: голос у Маши был звонкий, как колокольчик, и говорил без остановки — про солнце, про мелки, про собаку, которая, может быть, вернётся, если нарисовать её ещё раз. Марина слушала. Не перебивала. Не могла — и не хотела.

Дэн протёр стойку. Лина протёрла окно. Кофемашина гудела. Пол скрипел.

За окном солнце. Октябрьское, низкое, тёплое. Жёлтый круг на асфальте всё ещё. И жёлтая линия, и красная. Рисунки, которые не смываются. Рисунки, которые становятся. Рисунки, которые — может быть — больше, чем мел.

Дэн проверил зерно: эфиопская обжарка, средняя, с нотой ягод. Всё в порядке. Он варил кофе. Остальное не его.

Вечером, закрывая кофейню, Дэн вышел во двор. Асфальт был сухой, тёплый, нагретый солнцем, которого не было месяц. Жёлтый круг яркий, живой. И рядом зелёная линия. Новая. Маша приходила после обеда, пока Дэн не видел, и нарисовала ещё.

Дэн не знал, что Маша рисует. Не знал, что будет. Не знал, чем это кончится. Он только знал, что жёлтый круг — солнце, и солнце пришло. И зелёная линия — что? Он не знал. Может,

травы. Может, росток. Может, дорога. Может, ничего. Может, просто мел, который не смывается.

Он встал, пошёл к двери. Скрипнула первая половица. Потом четвёртая, у кухни. Дэн закрыл кофейню, включил сигнализацию. Ключ повернулся со звуком, похожим на кашель.

Кота не было. Не приходил, не появлялся, не комментировал. Иногда не приходил. Это было нормально.

Дэн шёл домой. Думал не о чём. О звёздах. О меле. О солнце, которое пришло после дождя. О голосе, который не вернулся. О девочке, которая рисует будущее, и не знает, что рисует. О матери, которая молчит — и не боится.

Обычный вечер. Обычная осень. Обычный Дэн, который варит кофе и идёт домой.

Жизнь продолжалась.

РАССКАЗ 3. КОЛЬЦО

ГЛАВА 1. КАПУЧИНО

Лина рисовала на пенке — это было её умение, единственное, которое не требовало кофе: она брала зубочистку, макала в корицу и выводила сердечко, лист, кота. Кот на пенке получался лучше, чем кот на подоконнике, — по крайней мере, на пенке он не сбежал.

— Шеф, — сказала Лина, — смотри, котик. Прямо как наш. Только этот не сбежит.

Дэн посмотрел: капучино с котом на пенке, для клиентки за третьим столиком, студентки с конспектом. Кот получился похож — уши торчком, хвост трубой, глаза-точки. Дэн кивнул, и Лина восприняла это как одобрение.

— Вообще, — продолжила она, протирая чашку, — я думаю, наш кот — это дух капучино. Приходит, когда я хорошо рисую. Не приходит, когда плохо. Вот сегодня нарисовала кота — он пришёл. Вчера рисовала цветок — не пришёл. Вывод: кот любит котов.

Дэн не стал объяснять, что кот приходит и уходит, когда хочет, и что пенка тут ни при чём. Лина знала. Но Лина любила теории — особенно те, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

Кот лежал на подоконнике — крупный, серый, с белым пятном на груди, жёлтые глаза закрыты. Он пришёл утром, когда Дэн открывал, и лёг на своё место, как будто подоконник был его, а кофейня — приложением. Дэн не возражал: кот был частью двора, как арка, как деревья, как скрип пола.

Меловая доска над стойкой: эспрессо, капучино, раф, латте, какао, чай. Короткое меню, без затей. Лина каждый раз хотела добавить что-нибудь смешное — «капучино с котиком» — и каждый раз Дэн стирал. Сегодня Лина не стала пытаться: она была занята теорией о коте и пенке.

Утро шло. Студентка с конспектом выпила капучино и ушла. Пришёл мужчина в пальто — эспрессо, стоя, ушёл. Пришла пара — два латте, у окна, шёпотом, смеялись; Лина нарисовала им два сердечка. Кот на подоконнике открыл один глаз, посмотрел, закрыл.

В одиннадцать пришла она.

Дэн увидел её через окно — не сразу. Она шла через двор медленно, не потому что не торопилась, а потому что выбирала дорогу: обходила лужи, хотя луж было много, и обходить их значило идти зигзагами, как будто она решала задачу — как пересечь двор, не замочив ног. Пальто бежевое, длинное, до колен. Шарф тёмно-зелёный, обёрнутый дважды. Волосы тёмные, короткие, стриженные ровно, как будто кто-то постриг их линейкой. Лицо узкое, с острым подбородком и тонкими губами, которые были сжаты так плотно, что казались одной линией. Глаза карие, внимательные, не столько уставшие, сколько настороженные — как у человека, который ждёт, что что-то случится, и не хочет, чтобы оно случилось.

Она вошла. Скрипнула первая половица. Кот открыл глаза, посмотрел, закрыл. Лина обернулась, улыбнулась.

— Доброе, — сказала Лина. — Что будете?

Женщина посмотрела на меловую доску — не на меню, на доску, как будто оценивала не кофе, а место.

— Капучино, — сказала она. Голос был тихий, ровный, с тем оттенком вежливости, который бывает у людей, привыкших контролировать себя. Не холодно — собранно. Как чемодан, у которого все замки закрыты.

Дэн кивнул. Взял чашку, молоко в питчер — взбил, налил эспрессо, добавил молоко. Капучино обычный, без затей: пенка мягкая, светлая, без рисунка. Лина обычно рисовала, но Дэн не рисовал — его капучино были гладкими, белыми, ровными, как первый снег.

Дэн налил себе свой — обычный эспрессо, не «особый», — как всегда пил одновременно с клиентом, и поднял кружку. Женщина обхватила чашку — и Дэн увидел.

Её руки. Левая — обычная, тонкая, с короткими ногтями, без лака. Правая — тоже. Но на безымянном пальце правой руки — след. Светлый, узкий, как ободок. Не загар, не шрам — след от кольца, которое носили долго. Кожа светлее, чем вокруг, — ровная полоска, как будто кто-то провёл ластиком.

Кольца не было. Только след. Но след был ярким — ярче, чем должен быть. Как будто кольцо сняли вчера, а не полгода назад. Дэн знал, как выглядят следы от колец: бледные, размытые, тающие. Этот — не таял. Этот — горел.

Они глотнули одновременно. Дэн — свой эспрессо, она — капучино. Ничего не произошло. Обычный капучино, обычное утро. Женщина не побледнела, не замерла, не расширила глаза. Просто пила кофе. Кофе был кофе.

Дэн не стал рисовать на пенке. Пенка осела. Женщина допила, поставила чашку, кивнула — коротко, без улыбки, — и ушла. Скрипнула первая половица. Потом вторая. Потом тишина.

Лина подошла к стойке, посмотрела вслед.

— След, — сказала она. — На пальце. Свежий. Видел?

Дэн кивнул.

— Разведёнка, — сказала Лина. Не осуждающе — констатируя. Лина не осуждала, Лина наблюдала — громко, с комментариями, но наблюдала. — Я видела такие. У моей кухни такой же. Только у неё был тёмный, от серебра. Этот — светлый. Золото?

— Не знаю, — сказал Дэн.

— Не знаешь. Шеф, ты же видишь всё. Ты что, не разглядел?

Дэн не ответил. Он видел. Он видел след, и видел, что след был неправильный — слишком яркий, слишком свежий, как будто кольцо сняли не полгода назад, а пять минут назад. Но кольца не было. Только след. Дэн не понимал. Он молчал, когда не понимал.

Она пришла на следующий день. И на следующий. И на следующий после.

Каждое утро — одна и та же картина: бежевое пальто, тёмно-зелёный шарф, короткие тёмные волосы, сжатые губы. Заказ — капучино. Дэн варил, пил свой одновременно, она пила, кивала, уходила.

Каждый раз Дэн смотрел на её руки, на безымянный палец правой руки. След не таял, не бледнел, не размывался — оставался ярким, узким, как ободок, который кто-то нарисовал и забыл стереть. На третий день Дэн заметил другое: женщина держала правую руку левой. Не всегда — иногда: когда пила, когда доставала телефон, когда поправляла шарф. Она прикрывала безымянный палец — машинально, как будто прятала. Но прятать было нечего: кольца не было. Только след.

На четвёртый день Дэн понял.

Не след от снятого кольца. Кольцо. Кольцо — на пальце. Тонкое, светлое, прижатое к коже так плотно, что сливалось с ней. Не золото — что-то другое, что-то, что было цвета кожи, но чуть светлее. Дэн увидел, когда она держала чашку и свет лампы Эдисона упал на палец под углом: блеск, короткий, как вспышка. Тонкая полоска металла, вросшая в кожу. Не приросшая — вросшая. Как будто кожа обхватила кольцо и держала.

Дэн не сказал ничего. Протёр стойку, крутил зерно — теперь уже потому что нервничал. Не сильно — чуть. Он видел странное раньше, но это было странное другого рода: не дар, не видение, а что-то, что жило в теле клиентки, и Дэн не знал, что это и как с этим быть.

Она пришла на пятый день, села за тот же столик — второй у окна, заказала капучино. Дэн варил, пил свой, она пила. Всё как обычно. Но сегодня она не кивнула и не ушла: поставила чашку, посмотрела в окно, потом на Дэна, потом снова в окно.

— Можно спросить? — сказала она.

Дэн кивнул.

— Вы... — она замолчала, поправила шарф — жест, который ничего не значил, но заполнил паузу. — Вы ведь видите. Что-то. Я не знаю что. Но вы видите. Я заметила. Каждый раз, когда я прихожу, вы смотрите на мои руки. Не на лицо, не на чашку — на руки.

Дэн молчал. Она говорила правду — он смотрел на руки. Но он не мог объяснить почему. Не потому что не хотел — потому что не знал. Он видел след, видел кольцо, вросшее в кожу. Но не знал, что это, не знал, что делать. Он варил кофе. Руки — не его дело.

— Я не знаю, что вы видите, — сказала она. — Но я знаю, что мне нужно с кем-то поговорить. С кем-то, кто не знает меня. С кем-то, кто... — она замолчала, посмотрела на свои руки, на безымянный палец, который прикрывала левой ладонью, убрала левую руку, положила обе на стол. Палец — с тонкой светлой полоской, которая блеснула в свете ламп.

— Это кольцо, — сказала она. — Не след. Кольцо.

ГЛАВА 2. СЛЕД

Её звали Вера. Не Вера — так она представилась. Дэн не спрашивал. Она сказала сама, как будто имя было частью истории, и без имени история не начиналась.

— Вера, — сказала она. — Мне тридцать пять. Я развелась полгода назад. Развод был... — она помолчала, подбирая слово. — Обычный. Не громкий. Без скандалов, без адвокатов, без дележки. Мы просто разошлись. Как поезда на разных путях. Он — в одну сторону, я — в другую. Так бывает.

Лина была на кухне. Дэн знал — она слушала. Лина всегда слушала, даже когда делала вид, что гремит чашками. Дэн не возражал: Лина умела слушать и не лезть. Иногда.

— Восемь лет, — сказала Вера. — Мы были вместе восемь лет. Познакомились на Дворцовом мосту. Смешно, да? На мосту. Он стоял и смотрел на Неву. Я шла мимо. Он обернулся. Я споткнулась — не о него, о бордюр. Он поймал. Банально. Как в кино. Но в кино так не бывает — в кино спотыкаются нарочно. Я споткнулась случайно. И он поймал случайно. И мы пошли — случайно. Всё было случайно. Кроме кольца.

Она посмотрела на свой палец, на тонкую полоску, которая блестела в свете.

— Кольцо он надел на мосту. Через год после знакомства. Не предложение — просто надел. Молча. Взял мою руку и надел. Сказал: «Это клятва. Не слова. Железо». Я не сняла. Не пыталась. Зачем? Клятва — клятва. Мы были вместе, и кольцо было частью. Как палец. Как дыхание. Я не замечала его. Не думала о нём. Оно было — и всё.

— А потом мы разошлись. Полгода назад. Он ушёл. Не хлопнув дверью — тихо. Собрал вещи, поцеловал в лоб, сказал: «Прости». Ушёл. Я осталась. Сняла туфли, села на кровать, посмотрела на палец. Кольцо было на месте. Я потянула — снять. Не смогла.

Она замолчала. Дэн ждал, не торопил. Кофемашина гудела. За окном — двор, арка, серое небо. Октябрь.

— Не смогла, — повторила Вера. — Не потому что застряло, не потому что палец опух. Кольцо сжалось. Я потянула — оно сжалось. Сильнее. Я потянула сильнее — оно сжалось сильнее. Как будто оно знало. Как будто оно живое. Я испугалась, пошла к ювелиру. Он посмотрел и сказал: «Странно, кольцо очень тугое». Взял инструмент, кусачки, подцепил — кольцо сжалось так, что инструмент сорвался. Ювелир порезал мне палец. Кровь. Он испугался больше меня. Сказал: «Я не могу. Это не кольцо. Идите к врачу». Я пошла к врачу. Врач посмотрел — рентген, осмотр — и сказал: «Кольцо? Какое кольцо? Я не вижу кольца на рентгене. Палец здоров». Я показала: вот, кольцо, вот — блестит. Он посмотрел и не увидел. Сказал: «Это след. От ношения. Пройдёт». Но оно не прошло.

Дэн крутил зерно, медленно, думал. Не о кольце — о том, что Вера говорила. Кольцо, которое сжимается. Кольцо, которого нет на рентгене. Кольцо, которое врач не видит. Кольцо, которое ювелир не может снять. Это не было физическим. Это было другим. Дэн знал «другое»: он варил «особый» и видел чужое будущее. Он знал, что в мире есть то, что не помещается в рентген и в инструмент. Но это было чужое «другое». В её случае — своё.

— Я пробовала мыло, — сказала Вера. — Масло. Лёд. Ничего. Кольцо сжимается, когда я тяну, и расслабляется, когда я отпускаю. Как будто дышит. Как будто оно часть меня, и не хочет уходить. Я могу жить с ним. Оно не мешает — не больно, не давит, если не трогать. Но я не могу. Я не могу жить с клятвой, которая не отпускает. Это как дверь, которая не закрывается. Ты уходишь, а она открыта. Ты поворачиваешь ключ, а замок не запирает. Ты закрываешь, а она открывается. И ты знаешь: кто-то держит. С другой стороны. Держит и не пускает.

— Он держит, — сказала Вера. — Я знаю. Не спрашивайте как — знаю. Чувствую. Кольцо не моё. Кольцо наше. Его и моё. Он надел — и не снял. Свою часть не снял. Я не могу снять свою, потому что его часть держит. Как замок и ключ. Он — замок, я — ключ. Он не открывается — я не выхожу.

Дэн молчал, слушал, не перебивал. Вера говорила, и он варил: взял пустую чашку, протёр, поставил, взял другую, протёр, поставил. Ритуал — руки работают, голова слушает.

— У меня дочь, — сказала Вера. — Соня. Семь лет. Она спрашивает: «Мама, почему ты носишь кольцо? Вы же развелись». Я говорю: «Это не кольцо, это след». Она верит. Дети верят. А я не верю. Не верю, что это «просто след». Знаю, что кольцо. Знаю, что не снимается. Знаю, что он держит.

— Чего вы хотите? — спросил Дэн. Не «что случилось» — случившееся было ясно. Не «чем помочь» — он не помогал. Он спрашивал: чего вы хотите. Это был единственный вопрос, который имел смысл. Не прошлое — настоящее. Не что было — что нужно.

Вера посмотрела на него. Карие глаза — прямо, без мигания. Она не ответила сразу, думала. Дэн видел, как она думала: губы сжались, разжались, пальцы левой руки гладили правую, ту, с кольцом.

— Хочу, чтобы оно ушло, — сказала она. — Не «снять». Не «разрезать». Чтобы ушло. Чтобы клятва отпустила. Чтобы он отпустил. Чтобы я отпустила. Чтобы не было кольца. Не было следа. Не было ничего.

— Дворцовый мост, — сказал Дэн. Не вопрос — слово. Он сказал, потому что Вера упомянула мост. Не совет, не направление — слово. Он мог сказать слово. Не мог сказать, что делать.

Вера вздрогнула, посмотрела на Дэна — долго, испытующе.

— Да, — сказала она. — Дворцовый. Он надел там. Я... — она замолчала, покачала головой. — Я не знаю, зачем я пришла. Я не знаю, что вы делаете с кофе. Я не знаю, что вы видите. Но я... — она встала. — Я приду завтра.

Ушла. Скрип — первая, вторая, четвёртая. Тишина.

Лина выглянула из кухни.

— Шеф, — сказала она. — Она не пьёт кофеёк. Она сидит и разговаривает. Это ненормально. Люди пьют кофе. Не рассказывают жизнь.

— Иногда рассказывают, — сказал Дэн.

— Иногда да. Но не так. Она не рассказывала. Она вываливала. Как будто держала в себе и не могла больше. Шеф, что с её пальцем?

— Кольцо.

— Я видела. Но... — Лина прищурилась. — Оно странное. Тонкое. Как будто вросло. Я думала — след. А это кольцо?

— Кольцо, — повторил Дэн.

— И она не может снять?

— Не может.

Лина молчала. Редко, но молчала. Когда молчала, это значило, что она думала. Лина думала громко обычно, но иногда тихо. Это были те моменты, когда Лина понимала, что шутка не подходит. Что кофеёк не кофеёк. Что серьёзно.

— Бедная, — сказала Лина. Тихо. Без уменьшительных.

ГЛАВА 3. НЕВА

На шестой день Дэн почувствовал.

Не утром, не при открытии, не когда Вера зашла — она зашла как обычно, бежевое пальто, тёмно-зелёный шарф, сжатые губы, — не когда варил капучино, не когда пил свой одновременно с ней, как всегда. Не тогда.

А потом. Когда Вера поставила чашку и посмотрела на него — не как обычно, не собранно, не настороженно, а прямо, открыто, как человек, который устал закрываться, у которого замки сломались. Не от силы — от усталости. Когда устаёшь держать дверь — отпускаешь. Не потому что хочешь. Потому что не можешь.

Дэн почувствовал: покалывание в кончиках пальцев, тепло в груди. Ощущение — не мысль: сейчас. Она готова.

Дэн кивнул — себе, не ей. Взял чашку, насыпал зерно, поставил темпер, включил пролив. Молоко в питчер — взбил, тёплое, густое, налил. Капучино — мягкий, светлый, с пенкой, которая собиралась в центре.

Дэн посмотрел на пенку. И увидел узор.

Круг. Тонкий, как ободок. Замкнутый — почти. Но с разрывом — маленькой щелью, через которую было видно тёмное дно. Круг с разрывом. Кольцо с щелью. Узор дрожал на пенке, как отражение в воде, и Дэн понял: это «особый». Не он решил — он почувствовал. Кофе подтвердил. Кольцо — то, что Вера носила. Кольцо — то, что не отпускало. Кольцо с разрывом — то, что должно было открыться.

Дэн подал. Поставил чашку перед Верой: белая чашка, без блюдца, капучино светлый, с узором, который таял.

— Осторожно, — сказал Дэн. Одно слово.

Вера обхватила чашку, посмотрела на пенку — не увидела узора. Для неё это был просто капучино. Она глотнула.

И увидела.

Мост. Дворцовый. Серый, октябрьский, петербургский вечер, когда небо не темнеет, а густеет, как краска, в которую добавили воды. Нева — тёмная, тяжёлая, медленная. Фонари горят — жёлтые, мутные, отражаются в воде, как дрожащие монеты. Ветер — с залива, холодный, солёный.

Вера стоит на мосту. Не у перил — посередине, между машинами, между фонарями, между двумя берегами. Ветер рвёт шарф, пальто расстёгнуто, руки свободные, без перчаток. И на безымянном пальце — кольцо. Не тонкое, не вросшее — обычное. Золотое, тёплое, как всегда.

Она берёт его. Двумя пальцами — правой руки. Тянет. Кольцо не сжимается. Скользит. Медленно, легко, как будто наконец решило. Снимается. Сходит с пальца, и палец — голый. Чистый. Без следа. Без полоски. Без ничего.

Она поднимает руку. Замахивается. Бросает.

Кольцо летит — медленно, как будто воздух густой, как будто время тянется. Падает — и не тонет. Не сразу. Падает к воде — и в последний момент, перед касанием, из воды — рука. Человеческая. Мужская. Ладонь вверх, пальцы растопырены. Кольцо падает в ладонь. Ладонь смыкается. И уходит — вниз, под воду, тихо, без всплеска.

Рука — его. Вера знает. По пальцам, по форме, по родинке на тыльной стороне, по мозоли на среднем — от ручки, от привычки писать. Его рука. Он держит. Не выпускает.

Видение кончилось. Пять минут — мягких, как сон, расплывчатых, как капучино, которое пили слишком долго. Вера вернулась в кофейню. Чашка в руках. Пенка осела. Кофе остыл. Дэн стоял напротив — серые глаза, внимательные, спокойные. Он видел то же. Он не сказал что. Он ждал.

Вера молчала. Долго — минуту, две. Кофемашина гудела. Лина не выглянула — знала, что не нужно. Кот на подоконнике открыл глаза, посмотрел, закрыл.

— Мне нужно к нему, — сказала Вера. Тихо. Не вопрос — решение. Она не спросила Дэна, не попросила совета. Сказала как говорят себе. Как говорят стенам, когда кто-то должен услышать, но не обязательно стены.

Дэн не ответил. Не кивнул, не сказал «да», не сказал «идите». Он молчал. Это было его умение — молчать, когда клиент нашёл ответ. Не подтверждать, не направлять. Молчать. Потому что ответ не его. Её.

Вера встала, надела шарф, застегнула пальто, посмотрела на свой палец — на тонкую полоску, блеснувшую в свете, кивнула себе, не Дэну. Ушла. Скрип — первая, вторая, четвёртая. Тишина.

Дэн стоял за стойкой, протёр стойку, крутил зерно — не потому что нервничал, а потому что руки должны что-то делать. Он не знал, что будет. Не знал, найдёт ли Вера бывшего мужа, не знал, снимет ли кольцо, не знал, утонет ли оно. Он только варил. Остальное не его.

Лина вышла из кухни. Молча — что было редкостью. Села на стул у стойки, посмотрела на Дэна.

— Шеф, — сказала она. — Она ушла.

— Ушла.

— Ты что-то сделал?

— Варил кофе.

— Только?

— Только.

Лина кивнула. Не потому что поверила — потому что знала. Знала, что «только кофе» — это не «только». Что в кофе было что-то. Что Дэн не объяснял. Что она не спрашивала. Что так всегда.

— Кофеёк? — спросила она.

— Вари, — сказал Дэн.

День шёл. Клиенты приходили и уходили. Дэн варил, Лина болтала, кот спал. Обычный день — без Веры, без кольца, без моста. Но Дэн думал — не о Вере, не о кольце, а о руке. О руке из воды, которая ловит то, что бросают. О том, что некоторые вещи нельзя бросить — можно только отпустить. Бросить — это волевой акт. Отпустить — это согласие. Разное.

Вера пришла вечером. Без четверти семь — перед закрытием. Пальто расстёгнуто, шарф не обернут, а наброшен, волосы растрёпаны, как будто ветер. Глаза другие — не собранные, не настороженные. Открытые. Красные — не от слёз, от ветра. От Невы. От моста.

Она села за стойку, положила руки на дерево — обе. Пальцы растопырены. Дэн посмотрел. Безымянный — чистый. Без кольца. Без следа. Без полоски. Гладкий, как будто ничего не было. Не осталось — ничего.

— Чай, — сказала Вера. Голос тихий, не собранный. Ровный, но без стен. Без замков. — Пожалуйста.

Дэн кивнул, взял чайник, заварил — чёрный, без добавок, без сахара, — поставил перед Верой. Она обхватила чашку не руками — ладонями. Как будто грела.

— Он снял, — сказала Вера. — Своё. Я приехала — он открыл дверь, увидел меня, понял. Не спрашивал. Молча зашёл в комнату, вернулся с кольцом. Снял. С ладони в руку. У нас были два кольца. Его и моё. Два замка. Два ключа. Он отпустил — и моё отпустило. Снялось. Легко, как будто всегда могло. Просто ждало. Ждало, пока он первый.

— Мы поехали на мост, — продолжила Вера. — Дворцовый. Вечер, ветер, фонари. Он бросил первым — его кольцо. Упало и утонуло. Тихо. Без всплеска. Как камень. Я бросила — моё. Упало и утонуло. Тоже. Тихо. Без всплеска. Два кольца на дне Невы. Две клятвы на дне. Тяжёлые, как камни. Тяжелее, чем должны быть.

Она помолчала, глотнула чай.

— Я не видела руку, — сказала она. — В видении — видела. Его руку. Из воды. В жизни не видела. Может, было. Может, нет. Не знаю. Но кольца утонули. Оба. Без руки. Без ничего. Просто утонули.

Дэн молчал, слушал, не комментировал. Вера говорила, и он варил — не кофе, чай. Но ритуал тот же. Руки работают, голова слушает.

Вера глотнула ещё. И замерла.

Не от чая. От чего-то другого. Она поставила чашку, посмотрела на Дэна. Глаза другие — не открытые, ищущие. Она искала — что? В его лице, в его глазах. Что-то, что хотела увидеть. И не увидела.

— Вы мне не верите, — сказала она. Не вопрос — утверждение. — Нет. Не так. Я не верю. Вам. Не верю, что вы... — она замолчала, покачала головой. — Нет. Не вам. Не вам. Я не верю. Вообще. Не верю, что кто-то говорит правду. Не вам. Всем. Лине, которая на кухне. Соседке, которая здороваётся. Соне, которая скажет «мама, я сделала домашку», — и я не поверю. Подумаю: врёт. Думает, что верю, а я нет. Я слышу слова — и не верю. Как будто кто-то выкрутил... — она поискала слово. — Как будто кто-то выкрутил веру. До нуля. Не больно. Не страшно. Просто ноль. Я слышу «да» — и думаю «нет». Я слышу «правда» — и думаю «ложь». Я слышу «люблю» — и думаю «врёт».

Она замолчала. Чай остывал. Дэн стоял напротив — неподвижный, серые глаза, внимательные. Он видел. Видел, как Вера менялась на глазах — не внешне, а изнутри. Что-то уходило из неё — тихо, как вода из трещины в чашке. Не быстро — медленно. Но уходило.

— Это... — Вера подняла руку, потрогала палец — чистый, без кольца. — Это плата? За кольцо?

Дэн не ответил. Не знал. Не знал, плата ли. Не знал, за кольцо ли. Он варил. Остальное не его. Но он видел. Видел, как Вера перестала доверять — не кому-то конкретно, а всем. Не людям — самой возможности, что слова равны правде. Это ушло. Как кольцо. Только кольцо — в Неву. А это — в никуда.

— Чай, — сказала Вера. — Я заказала чай. Чтобы забыть. Видение забыла. Уже забыла. Не помню, что видела. Но... — она посмотрела на свои руки. — Но это осталось. Чай стёр видение. Но это не стёр. Это осталось.

Дэн молчал. Вера допила чай, поставила чашку, встала.

— Спасибо, — сказала она. И Дэн услышал — не услышал. Не услышал «спасибо». Услышал слова. Просто слова. Без веры в них. Вера сказала «спасибо» — и не поверила себе.

Ушла. Скрип — первая, вторая, четвёртая. Тишина.

Дэн стоял за стойкой, протёр стойку. Кофемашина гудела. Лина выглянула.

— Шеф? — спросила Лина. — Всё нормально?

— Нормально, — сказал Дэн. Сказал — и подумал: поверит ли она? Что нормально? Что он сказал правду? Лина — да. Лина верила. Но Вера не верила. Вера больше не верила никому.

Лина подошла к стойке, посмотрела на чашку — пустую, чайную, — посмотрела на Дэна.

— Она странная была, — сказала Лина. — Не как обычно. Как будто потеряла что-то. Не кольцо — больше.

— Да, — сказал Дэн.

— Что?

— Не знаю, — сказал Дэн. И это было правдой.

Лина кивнула, убрала чашку, протёрла стойку — рядом с тем местом, где Дэн протёр. Два круга — его и её, рядом, не пересекаясь.

Вечер. Дэн закрыл кофейню, выключил кофемашину, проверил зерно, протёр стойку — последний раз, перед уходом. Поднял глаза.

На стойке — кольцо. Не Верино. Не золотое, не тонкое. Другое. Старое, тёмное — медь или бронза, потемневшая от времени. Широкое, мужское, с гравировкой. Дэн наклонился. Гравировка — буквы, стёртые, едва читаемые. Он не стал читать. Не тронул. Кольцо лежало на дубовой стойке, в том месте, где была впадина от чужих локтей, — тёмное, тихое, как будто всегда тут было.

Дэн не знал, откуда оно, не знал, чьё, не знал, почему здесь. Он только стоял и смотрел.

Кот спрыгнул с подоконника — мягко, беззвучно. Подошёл к стойке, посмотрел на кольцо — жёлтые глаза, без моргания, — посмотрел на Дэна.

— Не твоё, — сказал кот. Голос ровный, спокойный, мужской. Не котячий.

И ушёл. В арку, во двор, в ночь. Кот — часть двора. Кольцо — на стойке. Дэн — за стойкой. Октябрь. Петербург. Кофейня без вывески.

Дэн выключил свет, не тронул кольцо, закрыл дверь. Ключ повернулся со звуком, похожим на кашель. Скрипнула первая половица. Потом тишина.

Кольцо осталось. На дубовой стойке, в свете уличного фонаря, который проникал через грязноватое окно. Тёмное, старое, с гравировкой, которую никто не читал. Оно ждало. Или не ждало. Просто было.

Жизнь продолжалась.

РАССКАЗ 4. СОСЕД

ГЛАВА 1. РАФ

Дэн знал его в лицо. Не по имени — в лицо. Они жили в одном дворе.

Двор-колодец на Петроградской — это не дом, а организм: стены — рёбра, арка — рот, парадные — ноздри, внизу подвалы, сырые, тёмные, где трубы гудят, как желудок, вверху крыши, провода, голуби и небо, которое видно только если задрать голову и тогда видишь полоску — узкую, как шарф. Двор жил, дышал, скрипел, трещал: зимой стонал от мороза, летом потел, осенью молчал. Октябрь — самый тихий месяц. Лужи не высыхают и не замерзают — стоят. Деревья не падают и не растут — ждут. Люди не уходят и не приходят — ходят по одному маршруту: арка, парадная, лестница, квартира. Или: арка, двор, кофейня.

Игорь ходил по второму маршруту: арка, двор, кофейня. Не каждый день — через день, через два, иногда неделю не заходил, потом три дня подряд. Дэн не считал, но замечал: сколько шагов от арки до двери, какой рукой клиент открывает дверь, смотрит ли в окно, прежде чем войти. Игорь не смотрел. Игорь шёл через двор, не глядя по сторонам, входил, садился за второй столик у стены и заказывал раф. Каждый раз раф. Никогда не менял. Не экспериментировал. Раф — и всё.

Игорю было пятьдесят. Может, чуть меньше, может, чуть больше. Лицо квадратное, жёсткое, с глубокими складками от носа к подбородку, как будто кто-то провёл пальцами по глине, пока она не застыла. Волосы тёмные, с проседью, стрижены коротко, ровно. Глаза карие, маленькие, посажены близко, как у птицы. Руки крупные, тяжёлые, с толстыми пальцами, которые не знали, куда деться: на столе ложились ладонями вниз, как якоря, или обхватывали чашку — крепко, как будто она могла убежать. Игорь не был нервным. Игорь был тяжёлым. Не весом — характером. Тяжёлый человек. Основательный. Поставленный. Как шкаф, который стоит, и не сдвинуть.

Сегодня Игорь пришёл в десять. Сел за второй столик у стены, положил руки на стол ладонями вниз, посмотрел на меловую доску: эспresso, капучино, раф, латте, какао, чай. Короткое меню, без затей. Не потому что выбирал — потому что проверял. Каждый раз проверял, как будто меню могло измениться без предупреждения.

— Раф, — сказал Игорь. Голос низкий, ровный, как басовая струна, которую дёрнули и отпустили.

Дэн кивнул. Взял питчер, налил эспresso, добавил сливки — десять процентов, тёплые, — вскипел молоко, взбил, не долго, ровно. Раф — кофе со сливками, взбитый до мягкой пены: не горький, не сладкий, средний, мутный. Дэн не любил раф — напиток без характера, ни горечи эспresso, ни мягкости капучино, середина. Но Игорь любил. Каждый раз раф. Дэн не спрашивал почему. Не его дело.

Дэн налил себе эспresso — обычный, не «особый», — как всегда пил одновременно с клиентом, и поднял кружку. Игорь обхватил чашку обеими руками, как всегда, крепко. Они плотнули. Ничего не произошло. Обычный раф, обычное утро. Игорь пил, Дэн пил. Кофе был кофе.

Лина протирала окно — тряпка по стеклу, мягкий звук, как дыхание. Сегодня Лина была в берете, зелёном, под цвет шарфа, который она не снимала даже в кофейне. Лина считала берет частью формы. Дэн считал берет беретом. Они не спорили.

— Шеф, — сказала Лина, не оборачиваясь. — Кот сегодня не пришёл.

Дэн посмотрел на подоконник. Пусто. Кот не пришёл. Иногда не приходил — это было нормально. Кот был частью двора, и двор был частью кота, и иногда они расходились ненадолго. Кот приходил, когда считал нужным. Дэн не звал. Лина звала — мысленно, потому что вслух звать кота, который приходит и уходит, когда хочет, бессмысленно. Лина это знала. Но всё равно звала. Мысленно.

Игорь допил раф, поставил чашку, кивнул — коротко, без улыбки, как здороваются с соседом, которого видишь каждый день и который тебе не друг, но и не чужой. Встал, ушёл. Скрип — первая, вторая, четвёртая. Тишина.

Лина обернулась.

— Сосед, — сказала она. — Второй год ходит. Каждый раз раф. Ни разу не поменял. Ни разу не улыбнулся. Ни разу не поговорил. Шеф, он вообще разговаривает?

— Когда ему нужно — да, — сказал Дэн.

— А когда не нужно?

— Молчит.

— Как ты, — сказала Лина. — Вы с ним как два немых. Сидите, молчите, пьёте. Я между вами как переводчик. Только переводить нечего.

Дэн не ответил. Протёр стойку, крутил зерно — не потому что нервничал, а потому что думал. Думал об Игоре: о том, как он держит чашку, о его руках — крупных, тяжёлых, которые не знали, куда деться, — о его глазах, маленьких, близко посаженных, которые смотрели в чашку, а не в окно, не на Лину, не на Дэна. Игорь смотрел внутрь. Не в себя — внутрь. В чашку, в раф, в мутную пену, которая не держала узор. Дэн рисовал на пенке капучино — котов, сердечки, листья. Раф не держал рисунок: раф мутный, однородный, без характера. Как экран, на котором ничего не транслируют.

Игорь приходил через день, через два. Раф каждый раз. Дэн варил, пил свой одновременно, Игорь пил, кивал, уходил. Неделя. Две. Три. Дэн не считал, но замечал: Игорь стал приходить чаще — каждый день последние четыре дня, и каждый раз сидел дольше. Не двадцать минут — полчаса. Не полчаса — сорок минут. Чашка пустая, руки на столе, глаза в чашку. Не двигался, не смотрел в окно, не смотрел на Дэна. Сидел.

На пятый день подряд Дэн заметил другое. Руки. Руки у Игоря — крупные, тяжёлые, с толстыми пальцами, всегда спокойные, как якоря. Сегодня нет. Сегодня правая рука лежала на столе, а левая — под столом. Не на колене — ниже. Левая рука теребила что-то: ключи? зажигалку? Дэн не видел, но слышал — тихий металлический звук, как будто звенели ключи. Не звенели — позвякивали, мелко, часто, как нервный тик. Игорь теребил что-то левой рукой, и это было не в его характере. Игорь не был нервным. Игорь был тяжёлым. А тяжёлые люди не теребят.

— Шеф, — сказала Лина, когда Игорь ушёл. — Он сегодня другой. Заметил?

— Заметил.

— Что с ним?

— Не знаю.

Лина кивнула. Не потому что поняла — потому что знала: Дэн не скажет больше, чем знает. Дэн не говорил, когда не знал. Это было как скоординированный танец: Лина спрашивает, Дэн отвечает ровно столько, сколько нужно, и ни словом больше. Лина не обижалась — она знала правила, не записанные, не проговорённые, а выработанные за два года работы рядом.

На шестой день Игорь пришёл в десять. Сел, положил руки на стол — обе. Сегодня обе. Не теребил, не позвякивал. Сидел прямо, тяжело, как шкаф. Посмотрел на Дэна — не на чашку, на Дэна. Впервые за шесть дней. Маленькие карие глаза, близко посаженные, смотрели прямо. Не просительно, не требовательно — как человек, который стоит перед дверью и не знает, стучать или нет.

— Раф, — сказал Игорь.

Дэн кивнул, взял питчер, налил эспрессо, добавил сливки, вскипел молоко, взбил. И почувствовал.

Покалывание в кончиках пальцев, тепло в груди, как будто кто-то открыл форточку. Ощущение — не мысль, не решение: сейчас. Он готов. Дэн не знал чего, не знал почему, но чувствовал: что-то в Игоре — в его взгляде, в его руках, которые сегодня лежали спокойно, в его спине, которая сегодня была прямой, — дошло до точки, до края, после которого видно.

Дэн посмотрел в питчер, на пену, и увидел узор.

Линия. Тонкая, вертикальная, как трещина. Разрезала пену пополам, от края до края. Не ровная — рваная, как будто кто-то провёл ногтем по свежей штукатурке. Трещина. Узор дрожал на пене, и Дэн понял: «особый». Не он решил — он почувствовал. Кофе подтвердил. Трещина — то, что Игорь носил в себе. Трещина — то, что должно было раскрыться.

Дэн перелил раф в чашку — белую, без блюдца. Раф светлый, мутный, с узором-трещиной, который таял на глазах. Дэн налил себе эспрессо — свой, обычный, — поднял кружку.

— Осторожно, — сказал Дэн. Одно слово.

Игорь обхватил чашку. Они глотнули одновременно. И Игорь увидел.

Раф — самый опасный. Один час будущего: мутный, фрагментарный, как вспышки. Не кино — монтаж. Кадры, которые мелькают, не складываясь. Игорь видел — и не понимал.

Вспышка. Стена. Белая, старая, штукатурка потрескавшаяся, обои жёлтые, с узором, который был когда-то цветами, а стал пятнами. Ночь. Темно — но стена видна, как будто светится изнутри. И в стене трещина. Не по обоям — по стене. Глубокая, от пола до потолка, тонкая, как волос. Из трещины течёт. Не вода, не воздух — что-то другое. Тёмное, густое, медленное. Течёт по стене, вниз, к плинтусу. Течёт и не капает. Течёт и не останавливается.

Вспышка. Голоса. Не слова — звуки. За стеной, из-за трещины. Голоса тихие, далёкие, как будто из другой комнаты, из другого времени. Мужской голос — низкий, глухой. Женский — высокий, тонкий. Не разобрать, что говорят, не разобрать, на каком языке. Может, на рус-

ском. Может, нет. Голоса как радио, которое ловит две станции сразу, и обе слабые, и обе далёкие.

Вспышка. Пустая комната. Окно без штор, с выбитым стеклом, заклеенным скотчем. Пыль толстая, серая, на подоконнике, на полу, на обоях. Мебели нет. Только часы. Настенные, круглые, с римскими цифрами. Стрелки двигаются. Тикают. Без электричества, без батареек. Тикают сами.

Вспышка. Стук. Тихий — из-за стены. Не стук — постукивание. Костяшками пальцев. Три удара. Пауза. Три удара. Пауза. Три удара. И тишина. Никто не отвечает.

Вспышка кончилась. Раф мутный, фрагментарный, как вспышки. Один час будущего, разорванный на куски, которые не складывались. Игорь вернулся в кофейню. Чашка в руках. Пена осела. Раф остыл. Дэн стоял напротив — серые глаза, внимательные, спокойные. Он видел то же, но молчал. Ждал.

Игорь сидел. Долго. Минуту, две. Руки на столе, обе, ладонями вниз. Не двигался. Глаза в чашку, в мутную пену, которая не держала узор. Которая была экраном, на котором только что мелькали кадры, а теперь — ничего. Пусто.

— Что это было? — сказал Игорь. Голос ровный, но Дэн услышал: дно. Дно в голосе, как в колодце, когда камень падает и долго летит, прежде чем плеснуть. Игорь спрашивал, но не ждал ответа. Спрашивал, как человек, который стучит в стену и не ждёт, что стена ответит.

Дэн молчал. Не потому что не хотел — потому что не мог. Он не объяснял видение, не интерпретировал, не говорил, что значит трещина, что значит время, что значит стук. Он варил. Остальное не его.

Игорь встал, не допив, положил на стол больше, чем обычно, не считая, ушёл. Скрип — первая, вторая, четвёртая. Тишина.

Лина выглянула из кухни.

— Шеф, — сказала она. — Он не допил кофеёк.

— Не допил.

— Он что, расстроился?

— Не знаю.

— Шеф...

— Не знаю, — повторил Дэн. Протёр стойку, крутил зерно. Не нервничал — думал. Думал о трещине, о времени, которое течёт из стены, о стуке, на который никто не отвечает.

ГЛАВА 2. СТЕНЫ

Игорь не пришёл на следующий день. И на следующий. И на следующий после.

Три дня пусто. Второй столик у стены пустой. Дэн не беспокоился: не его дело — приходить или не приходить. Лина беспокоилась. Лина беспокоилась обо всём — о погоде, о коте, о студентах, которые пили латте и не спали, о мужчинах, которые приходили и не разговаривали. Лина беспокоилась громко.

— Шеф, — сказала Лина на третий день, протирая второй столик, хотя он был чистый. — Сосед не приходит. Три дня. Раньше каждый день ходил. Теперь нет. Может, заболел?

— Может, — сказал Дэн.

— Может, — повторила Лина. — А может, нет. Может, ему плохо. Может, ему как тому старику, который... — она не закончила, не назвала, не вспомнила. Просто намёком, как делают, когда знают, что нельзя называть, но хотят.

— Лина, — сказал Дэн. — Не нужно.

— Что не нужно?

— Не нужно придумывать.

Лина замолчала. Редко, но замолчала. Протёрла столик ещё раз, поставила салфетницу ровно, ушла на кухню.

На четвёртый день Игорь пришёл. Не в десять — в девять, раньше. Когда кофейня только открылась, а Лина ещё не пришла. Дэн был один. Кофемашина гудела, набирая температуру. Пол скрипел. Кот сидел на подоконнике — пришёл после четырёх дней отсутствия и лёг на своё место, как будто не уходил. Жёлтые глаза полузакрыты, дремал.

Игорь вошёл. Скрипнула первая половица. Сел за второй столик, положил руки на стол, посмотрел на Дэна. Сегодня по-другому: не тяжело, не прямо. Сегодня открыто. Как человек, который держал дверь закрытой долго, а теперь приоткрыл. Не распахнул — приоткрыл. Щель. Трещина.

— Раф, — сказал Игорь.

Дэн кивнул, взял питчер, налил эспрессо, добавил сливки, вскипел молоко, взбил. Обычный раф — без узора. Дэн не чувствовал покалывания. Сегодня не «особый», сегодня обычный раф, мутный, тёплый, без характера. Дэн подал, налил себе эспрессо, они глотнули одновременно. Ничего не произошло. Кофе был кофе.

Игорь пил медленно — не как обычно. Обычно глотал, не задерживая. Сегодня маленькими глотками, как будто пробовал на вкус. Или тянул время. Дэн протирает стойку, не торопился. Кот на подоконнике дремал — или делал вид. Коты умеют делать вид, что спят, когда слушают. Дэн знал.

— Я живу в этом доме, — сказал Игорь. Не с чего — просто сказал. Как будто продолжал разговор, который начался давно, но молча. — Тридцать лет. Сначала с матерью. Потом один. Квартира на третьем этаже, окно во двор. Сосед — через стену. Левая стена. Между кухнями.

Дэн молчал, протира́л стойку, крутил зерно — не потому что нервничал, а потому что руки должны что-то делать, когда рот молчит.

— Соседа звали Пётр, — сказал Игорь. — Пётр Иванович. Старик. Одинокий. Жена умерла давно, до того, как я переехал. Дети — не знаю, были ли. Никогда не видел. Никогда не слышал, чтобы кто-то приходил. Пётр жил один, за стеной. Я жил один, за стеной. Две квартиры, одна стена. Двадцать сантиметров кирпича. Старого, дореволюционного. Толстого. Звукопроницаемого.

Игорь замолчал, глотнул раф, поставил чашку, посмотрел в окно — впервые. Во двор, на деревья, на арку, на мокрый асфальт. Не потому что интересно — потому что нужно было куда-то посмотреть, пока рот решал, говорить или нет.

— Пять лет назад, — сказал Игорь, — Пётр умер. Ночью. Я не знал. Утром услышал. Не стук, не крик — тишину. Пётр кашлял. Каждую ночь кашлял. Глубоко, тяжело, как собака, которая не может откашляться. Я привык: кашель как часы, тикает и тикает, не обращаешь внимания. А когда останавливается — замечаешь. Пётр перестал кашлять. И я понял: он умер. Не вышел, не посмотрел. Понял — и лёг. Утром приехала скорая. Соседи вызвали. Не я.

Дэн стоял за стойкой, не двигался, слушал. Руки на стойке, тряпка в правой, зерно в левой. Крутил. Не быстро — медленно, ритмично, как метроном.

— После — квартира пустая, — сказал Игорь. — Пять лет. Никто не въехал. Не продаётся, не сдаётся. Наследники не нашли, может, нет. Квартира за стеной. Пустая. Тёмная. Я проходил мимо — по коридору, к лифту. Дверь закрытая, обшарпанная, с металлической табличкой, на которой номер. Двадцать четыре. Я проходил мимо и не думал. Не думал пять лет. Думал, что не о чем думать. Сосед умер, квартира пустая. Бывает. Не о чем думать.

Игорь замолчал. Долго. Минуту, две. Дэн не торопил. Кофемашина гудела. Кот дремал. За окном двор, деревья, арка. Октябрь.

— А потом, — сказал Игорь, и голос изменился: не громкость, не тембр — глубину. Голос ушёл глубже, как будто Игорь опустился на дно, и оттуда говорил. — Потом я начал слышать.

— Что? — спросил Дэн. Одно слово.

— Голоса. За стеной. Из пустой квартиры. Ночью, когда темно и тихо. Сначала думал, телевизор. У соседа сверху телевизор — громкий, старик, глухой, смотрит на всю. Я думал, оттуда. Потом прислушался: нет. Не оттуда. Из-за стены. Из двадцать четвёртой. Из пустой.

— Голоса, — повторил Дэн. Не вопрос — эхо. Он повторял, чтобы Игорь слышал: да, я слушаю.

— Мужской и женский, — сказал Игорь. — Мужской низкий, глухой. Женский высокий, тонкий. Не разбираю, что говорят, не разбираю слова. Только интонацию. Мужской говорит, говорит, монотонно, как читает. Женский отвечает. Коротко, одно-два слова. Потом пауза. Потом снова. Каждый вечер. С одиннадцати до часу. Потом замолкают. И я лежу. И слушаю. И не сплю.

Игорь посмотрел на свои руки. Крупные, тяжёлые, с толстыми пальцами. Положенные на стол — как якоря.

— А ещё стук, — сказал он. — В стене. Не из-за стены — в стене. Как будто кто-то стучит изнутри. Костяшками. Три удара, пауза, три удара. Как... — он замолчал, сжал кулак, разжал. — Как я. Когда стучу соседу. Когда-то стучал. Пять лет назад. Когда Пётр был жив. Иногда стучал в стену. Привет, я здесь. Он стучал в ответ. Привет, я тоже. Мы не разговаривали, не ходили в гости, не здоровались в коридоре. Только стук. Три удара, пауза, три удара. Наш язык. Два одиноких человека за стеной, которые не разговаривают, а стучат.

— А потом, — сказал Игорь, и голос стал тихим, — за неделю до того, как Пётр умер, он постучал. Три удара. Я не ответил. Не постучал в ответ. Не потому что не хотел — потому что... — он замолчал. Долго. Не минуту — две. Кофемашина гудела. Кот на подоконнике открыл один глаз, жёлтый, без моргания, посмотрел на Игоря, закрыл.

— Потому что устал, — сказал Игорь. — Просто устал. Вечер. Темно. Лежу. Слышу стук. Три удара. Пауза. Три удара. И не стучу. Лежу. Думаю: завтра постучу. Завтра отвечу. Завтра. А завтра Пётр не кашлял. А послезавтра скорая. И не осталось завтра. Не осталось «потом». Только стена. И стук, который я не вернул.

Дэн молчал. Не потому что не хотел говорить — потому что не было слов. Не было слов, которые были бы правильными. Он варил кофе. Он не утешал, не прощал, не говорил «это не ваша вина». Он молчал. Иногда молчание было единственным, что можно дать.

Игорь допил раф, поставил чашку, посмотрел на Дэна.

— Я видел, — сказал он. — Вчера. Когда пил. Видел. Стена, трещина, голоса, часы. Я не понял. Не понимаю. Но видел. И теперь слышу. Каждый вечер. Голоса. Стук. Три удара. Пауза. Три удара. И я лежу — и не стучу. Как тогда. Не стучу.

— Почему? — спросил Дэн. Не «почему не стучите» — «почему». Одно слово.

Игорь посмотрел на свои руки. На толстые пальцы, которые лежали на столе, как якоря, которые не держали ничего.

— Боюсь, — сказал он. — Боюсь, что стукну — и ответят. И тогда я услышу, кто там. За стеной. В пустой квартире. Услышу — и не смогу не слышать. Не смогу перестать. Не смогу как тогда. Когда не ответил. Не смогу вернуться.

Дэн не ответил. Не кивнул, не сказал «идите», не сказал «не бойтесь». Он стоял за стойкой, крутил зерно, и молчал. Потому что ответ не его. Игорь спрашивал не Дэна. Игорь спрашивал себя. Дэн только слушал.

ГЛАВА 3. ЧАСЫ

Игорь ушёл. Дэн стоял за стойкой. Лина пришла в восемь — рыжая, в зелёном берете, с пакетом, из которого торчал батон.

— Шеф, — сказала Лина. — Сосед был? Я видела — он выходил из арки. Смотрел как в землю. Не поздоровался. Обычно кивает. Сегодня нет.

— Был, — сказал Дэн.

— И?

— Пил раф.

— И?

— И ушёл.

Лина посмотрела на Дэна, рыжие брови сошлись к переносице. Она хотела спросить — и не стала. Умеет. Иногда не спрашивать важнее, чем спрашивать. Лина убрала пакет на кухню, повесила фартук, вернулась в зал, протёрла окно. Тряпка по стеклу — мягкий звук, как дыхание.

День шёл. Клиенты приходили и уходили. Дэн варил, Лина болтала, кот лежал на подоконнике — неподвижный, жёлтые глаза полужакрыты. Обычный день. Без Игоря. Без трещины. Без стука.

Вечером Дэн закрыл кофейню, протёр стойку, проверил зерно, выключил кофемашину. Кот не ушёл — лежал, как будто ждал. Дэн посмотрел на кота. Кот открыл глаза — жёлтые, без моргания, — посмотрел на Дэна, не сказал ничего, закрыл. Дэн вышел. Скрипнула первая половица. Потом четвёртая. Тишина.

Ночь. Октябрь. Двор-колодец. Арка тёмная, полутьма даже ночью. Дэн шёл через двор, к своей парадной, проходил мимо окон — чужих, тёмных, редких, где горел свет. На третьем этаже окно Игоря. Тёмное. Не горит. Дэн не остановился, не посмотрел. Шёл.

Парадная. Лестница. Третий этаж. Дверь его. Ключ повернулся со звуком, похожим на кашель. Дэн вошёл. Квартира маленькая, тёмная, пахнет кофе и древесиной — как кофейня. Дэн не замечал, привык. Включил свет, повесил ключ, снял фартук, налил воды, выпил. Стоял у окна, смотрел во двор, на арку, на деревья, на окна. На окно Игоря — тёмное. Не горит.

Дэн не знал, что происходит за стеной у Игоря. Не знал, слышит ли он голоса, не знал, стучит ли, не знал, пошёл ли в пустую квартиру. Не его дело. Он варил. Остальное не его. Но думал. Не об Игоре — о стене. О двадцати сантиметрах кирпича, которые разделяют двух людей. О стуке, который не вернули. О завтра, которого не осталось. Думал — и заснул.

Утро пришло. Дэн открыл кофейню. Скрипнула первая половица. Кофемашина гудела. Меловая доска: эспрессо, капучино, раф, латте, какао, чай. Лина пришла в восемь — без берета, с мотком шерсти и спицами.

— Шеф, — сказала Лина. — Я решила вязать. Не спрашивай зачем. Мне сказала бабушка, что вязание успокаивает. Бабушка врала — вязание бесит. Но я попробую.

Дэн не стал комментировать. Протирал стойку, проверил зерно — эфиопская обжарка, средняя, с нотой ягод. Всё в порядке.

В десять пришёл Игорь.

Не как обычно — не через арку, через двор. Через парадную. С улицы. С другой стороны. Как будто шёл не домой, а оттуда. Откуда-то. Дэн увидел его через окно: шёл быстро, не тяжело. Не как шкаф, который стоит. Как человек, который идёт. Руки не в карманах. Свободные. По бокам. Расправленные.

Игорь вошёл. Скрипнула первая половица. Сел за стойку. Не за второй столик — за стойку. Впервые. Прямо напротив Дэна. Положил руки на дерево, рядом с впадиной от чужих локтей, посмотрел на Дэна. Маленькие карие глаза — другие. Не тяжёлые, не открытые. Чистые. Как будто вымытые. Как будто выстояли.

— Был, — сказал Игорь. Не «здравствуйте», не «раф». — Был. Там. В квартире. Двадцать четвёртой.

Дэн кивнул. Не «молодец», не «расскажите». Кивнул.

— Дверь не заперта, — сказал Игорь. — Пять лет не заперта. Я думал — заперта. Не проверял. Не ходил. Думал: заперта, и всё. А она не заперта. Дверь открыта. Всегда была открыта. Я не открывал.

Он замолчал, обхватил чашку, которую Дэн поставил перед ним — машинально, привычно, раф, без заказа, потому что Игорь всегда заказывал раф. Обхватил обеими руками. Тёплыми. Крепко.

— Я зашёл, — сказал Игорь. — Пыль. Толстая, серая. На всём. Окно с выбитым стеклом, заклеено. Скотч жёлтый, отстал. Ветер из щели. Тонкий, холодный. Мебели нет. Кровать нет, стул нет, стол нет. Пусто. Только часы.

Дэн налил себе эспрессо, сел на свой табурет — напротив. Они глотнули одновременно.

— Часы, — продолжил Игорь. — Настенные. Круглые. С римскими цифрами. На стене висят. Я подумал: пять лет. Без электричества, без батареек. Должны остановиться. Любые часы остановятся. Эти нет. Тикали. Тихо, ровно. Тик-тик-тик. Как живые. Как сердце.

Игорь замолчал, глотнул раф, поставил чашку. Руки на стойке, но не как якоря. Легче. Как будто сбросили вес.

— Я стоял и слушал, — сказал он. — Тик-тик-тик. И голоса. Из-за стены. Из моей квартиры. Из-за стены, которая была моей стороной. Мужской говорил. Женский отвечала. Я слышал через стену. Из своей квартиры в пустую. Или из пустой в свою. Не важно. Я слышал и не понимал. Не слова — интонацию. Мужской монотонно, как читает. Женский коротко, тихо. И стук. Три удара. Пауза. Три удара. Не из стены — из часов. Стук из часов. Тик-тик-тик — и три удара, громче, как будто кто-то стучит изнутри часов. Костяшками. Три удара. Пауза. Три удара.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.